

## ЧАСТЬ IV. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ В ПРОСТРАНСТВЕ СОЦИОГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ: ЯЗЫКИ НАУК И ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

*О.В. Воробьева* (Институт всеобщей истории РАН)

### К понятию междисциплинарности

1. В современной литературе термин «междисциплинарность» один из самых популярных. Однако его употребление зачастую никак не поясняется. В качестве синонимичных используются понятия интер-, поли-, мульти-, плюро-, транс-, кросс-, мета- дисциплинарности и т.д. Что это: терминологическая игра, признак неустойчивости семантики (свидетельствующей о постоянном поиске способов реализации междисциплинарного синтеза) или наоборот утраты ею своего методологического статуса? Анализ современной исторической литературы показывает, что объясняющим потенциалом обладают все указанные выше факторы. Оставляя за пределами внимания задачу рассмотрения трудностей междисциплинарного взаимодействия (что тоже определенным образом объясняет терминологическую путаницу), обратимся к особенностям употребления и толкования терминов в этом пространстве.

2. Прежде всего, следует уяснить, что по своим истокам феномен междисциплинарности непосредственно связан, как свидетельствует этимология этого слова, с развитием дисциплинарного научного знания, поскольку термин «междисциплинарность» предполагает наличие двух (нескольких) интеллектуально отдельных дисциплин, сочетанием которых может производиться новое знание. Создание дисциплинарно организованной системы знания предполагало признание неполноты изучения каждой из них мира как целостного объекта исследования. Отсюда — необходимость рассмотрения исследуемых объектов с разных точек зрения, т.е. междисциплинарно. Стало быть, междисциплинарность является относительно современным фактором развития науки и на додисциплинарной фазе может рассматриваться скорее с точки зрения способа формирования истории как научной дисциплины. При этом все исследователи этой проблемы единогласно признают, что, несмотря на обращение к проблеме междисциплинарных исследований в конце XIX – первой половине XX вв., в активный оборот это понятие входит только во второй половине прошлого века.

3. Неустойчивость семантики термина «междисциплинарность» тесно связана с поисками форм междисциплинарного взаимодействия в рамках сначала модернистской, а потом и постмодернистской парадигм и исследовательских культур.

4. Модернистская парадигма исходила из того, что любая академическая дисциплина отличается либо своим предметом, либо своим методом, противопоставляя эти подходы и не осознавая их взаимодействие: наличие особого предмета исследование предполагает выработку соответствующего ему метода, а наличие особого метода – собственного ракурса рассмотрения исторической реальности, позволяющего конструировать составляющие предмет дисциплины специфические объекты. Некоторые к предмету и методу, как конституирующим факторам автономности дисциплины в рамках модернистской парадигмы, добавляли еще и теорию. С этой точки зрения, отдельная наука существует тогда, когда она строит *свою* теорию *ей* подведомственного предмета, исследуя данный предмет методом (набором методов), присущим именно *этой* дисциплине. Такое понимание дисциплинарности задавало направление поисков способов междисциплинарного взаимодействия. Специфика междисциплинарности усматривалась либо в предмете, либо в методе, либо в теории, либо сразу во всей триаде.

5. Эволюцию форм междисциплинарного взаимодействия в рамках модернистской парадигмы выглядит следующим образом. Сначала как заимствование эмпирических данных и наблюдений исторической науки (Э. Дюркгейм, инициаторы проекта «Международной энциклопедии объединенной науки» и т.п.). Затем – как то, что должно быть в самой практике исторического исследования либо на уровне репрезентации, либо на уровне коллективной координации процесса создания исторического исследования, в практике так называемой проблемной истории (Школа «Анналов»). Последний подход был мостиком к той форме междисциплинарного взаимодействия, которую принято называть поли- или мульти-междисциплинарностью.

6. В понимании термина мульти / полидисциплинарность у исследователей также отсутствует ясность и единство. Одни понимают ее как поиск интегрального подхода к изучению прошлого через перекрестное опыление разных общественных наук путем применения различных подходов, исследовательского инструментария к общему и заранее определенному объекту исследования и даже обращение к объектам научных интересов других дисциплин (Л.П. Репина). Другие как многостороннее исследование одного объекта, при выделении в нем разных предметов анализа, исследуемых исключительно дисциплинарными методами, и сохранении каждой из наук-«участниц» значительной степени автономности (В.Б. Касевич). Отсутствие переноса методов исследования из одной дисциплины в другую при мультидисциплинарном подходе является даже, с точки зрения сторонников второго подхода, основанием для разведения его с междисциплинарным подходом. Третьи доходят до того, что отказываются рассматривать термины поли- и мульти- дисциплинарность как синонимичные (А.С. Фомин).

7. Формирование постмодернистской парадигмы внесло новые нюансы в развитие представлений о междисциплинарности. Поскольку в рамках этой парадигмы разделение мира на подведомственные разным академическим дисциплинам сферы рассматривается не как отражение естественного порядка вещей, а как культурная практика, легитимность системы дисциплинарного знания оказывается под сомнением. Следствием этого оказывается делигитимация и междисциплинарного подхода, неотделимого, по своему определению, от дисциплинарного. Это дало возможность обнаружения таких предметов, которые находятся в трансдисциплинарном пространстве.

8. Проблема трансдисциплинарности впервые была поставлена Пиаже в 1970 г., однако ее активное обсуждение началось с 1980-х гг. Но, подобно мультидисциплинарности, однозначного определения термин «трансдисциплинарность» не получил. Среди наиболее употребляемых его значений можно выделить три. Трансдисциплинарность как принцип организации научного знания, открывающий широкие возможности взаимодействия дисциплин при решении комплексных проблем природы и общества, которые в принципе не могут быть поставлены и решены в дисциплинарных границах. Трансдисциплинарность как правило исследования окружающего мира, предполагающее исследование проблемы сразу на нескольких уровнях – физическом и ментальном, локальном и глобальном. Трансдисциплинарность как объединение наук исключительно методами исследования, используемых для установления изоморфности разных объектов.

9. Разнообразие форм междисциплинарного взаимодействия сегодня не ограничивается рассмотренными выше вариантами, хотя они, несомненно, являются наиболее распространенными. Примером может служить недавнее появление терминов ко-дисциплинарности и синдисциплинарности.

10. Проблема четкого определения терминологического аппарата форм междисциплинарного взаимодействия осложняется не только семантическим потенциалом (и даже определенным семантическим «перегревом») используемых для этого терминов, но и дополнительными факторами. Среди последних, например, различная трактовка терминов представителями разных областей научного знания: философами и историками науки, социологами и историками, а также участниками междисциплинарных взаимодействий в различных областях естествознания. В любом случае классификация форм междисциплинарности, равно как и использование соответствующих терминов, не должны быть произвольными и бездумными.

### **Переход идей через дискурсивные границы: философия и историография**

Сегодня можно говорить о смещении акцента в самоосмыслении философии и гуманитарных наук как дискурсивных систем: все больше внимания уделяется не производству смыслов и истин, но мышлению как опыту. Это смещение позволяет сконцентрировать внимание не только на содержательно-логической, но и на формально-аффективной стороне опыта мысли. В частности, по аналогии с понятием «исторического опыта» как особой гуманитарной практики, которое отстаивает в своем фундаментальном труде Ф.Р. Анкерсмит, можно говорить и о специфическом «философском опыте», феноменология которого была намечена в «Эстетике мышления» М. Мамардашвили, «Что такое философия?», Ж. Делеза и Ф. Гваттари, некоторых работах Ж.-Л. Нанси. В современной рефлексии трудно не заметить также, что дискурсы философии и гуманитарных наук и связанные с ними формы «опыта» самоопределяются относительно основополагающего для культуры Нового и Новейшего времени опыта эстетического. Культурогенную роль последнего убедительно показывает в своих работах Ж. Рансьер. Цель настоящего доклада – дать самый приблизительный набросок «философского опыта» и его отношения к эстетическому, опираясь на современную категорию (ментального) события.

Сергей Зенкин, размышляя о соотношении мысли и дискурса, считает, что мысль не есть гипотетическое состояние «чистого интеллекта» и что она всегда предстает в исторических формах мышления. Максимально обобщенные и схематичные единицы, моделирующие мыслительную ситуацию, Зенкин предлагает называть традиционным термином «идея». До известной степени этот термин близок понятию «концепта» Делеза и Гваттари, но если «концепты» в их понимании принадлежат только философии, то «идеи» суть не что иное, как протофигуры мысли, которые способны терять или приобретать актуальность, отделяться от дискурсивного и идеологического контекста, сохраняя при этом некий минимум идентичности. Идеи кроссдискурсивны и анализ их междискурсивного «перевода», позволяет сделать вывод о том, что для них характерна не только определенная устойчивость, не сводимая к формам того или иного конкретного дискурса, но и глубинная фигуративность – своего рода пространственно-временная организация самой мысли. Эта «композиция» мысли может иметь форму визуальной схемы, пространственной конфигурации (таковы, по Зенкину, идеи структуры и иерархии), временной фигуры (например, идеи генезиса, повтора или культурного обмена). Идеи в этом смысле – это интеллектуальные схемы или модели. Они могут не поддаваться верификации/фальсификации, а кроме того, они являются настолько абстрактными, что несводимы к тому или иному образу

или метафоре (напротив: они сами требуют метафоры для обозначения). С другой стороны, идеи не могут быть подвергнуты исключительно логической категоризации, для их анализа более адекватен «фигуративный» подход.

В своей «Эстетике мышления» Мамардашвили образы «чистого созерцания» или спекулятивные идеи характеризует как то, что, с одной стороны, «не зависит от актов ума» и знания, и то, «что нельзя получить никаким понятием», но также, с другой стороны, как то, что ни в коей мере не является «психическими или зрительными образами» и «образами ощущений». Позднее Делез и Гваттари именуют «концептами» идеи, не сводимые ни к понятиям (или к идеям-абстракциям), ни к образам (или к ассоциативным идеям). Так или иначе, все названные авторы указывают на то измерение идей, которое не схватывается только логическим и семантическим анализом.

В докладе предполагается сопоставить стратегии философского и историографического дискурсов в перспективе интеллектуального обмена между ними.

*Л.П. Репина* (Институт всеобщей истории РАН)

### **Историческая память как понятие и как проект\***

В современной историографии появилось обширное исследовательское поле, связанное с изучением исторического сознания и исторической памяти. С каждым годом появляется все больше исследований, сосредоточенных на изучении коллективных представлений о прошлом в разных исторических социумах. В 1990-е годы произошло становление нового междисциплинарного направления социогуманитарного знания – так называемой истории памяти. Сегодня библиография истории памяти насчитывает уже сотни книг и статей с самым широким спектром конкретных тем и сюжетов. При этом огромный ее массив составляют работы, анализирующие память о травматических событиях XX столетия.

Широко ныне распространенное понятие «историческая память» по-разному интерпретируется отдельными авторами: и как способ сохранения и трансляции прошлого в эпоху утраты традиции, и как индивидуальная память о прошлом, и как часть социального запаса знания, существующая уже в примитивных обществах, и как коллективная память о прошлом, если речь идет о группе, и как социальная память о прошлом, когда речь идет об обществе, и как идеологизированная история, более

---

\* Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН в рамках проекта «Кризисы переломных эпох в мифологии исторической памяти».

всего связанная с возникновением государства-нации, и, наконец, просто как синоним исторического сознания.

Однако большинство специалистов понимают под «исторической памятью» совокупность представлений о социальном прошлом, которые существуют в обществе как на массовом, так и на индивидуальном уровне, включая их когнитивный, образный и эмоциональный аспекты. В последние десятилетия «историческая память» стала рассматриваться, наряду с традицией и политизированными версиями истории, в качестве фактора, обеспечивающего идентификацию политических, этнических, национальных, конфессиональных и социальных групп, формирующегося у них чувства общности. Считается, что сегодня «историческая память» в какой-то мере восстанавливает необходимую для социума связь с прошлым, которую обеспечивала традиция.

У терминологии исторической памяти есть не только сторонники, но и противники, в том числе те авторитетные специалисты, которые считают понятие исторической памяти по меньшей мере излишним, а по большому счету – насквозь идеологизированным, и поэтому вредным. Они обосновывают свою позицию разными соображениями. Одно из них состоит в том, что исследователи «исторической памяти» оказываются вовлечены в процесс *производства* самой «памяти», а в результате происходит стирание граней между массовыми представлениями и производством профессионального исторического знания. В связи с этим, в интересах более последовательного их размежевания, предлагается оперировать понятием коллективных представлений о прошлом, разработанным в рамках социальной психологии, культурной антропологии и социологии знания, а концепт «историческая память» главным образом связывается с понятием «политика памяти», с анализом роли политического заказа в формировании и закреплении конкретных знаний о прошлом, для обеспечения определенных социально-политических задач, или же трактуется как оппозиционные, конкурентные формы исторической памяти, создающие так называемую *контр-историю*, – в первую очередь, прошлое угнетенных классов, национальных меньшинств, а также притесняемых конфессиональных групп и маргинальных слоев. Таким образом, историческая память рассматривается главным образом как политический проект. Особое внимание также обращается на роль представлений о прошлом и исторических мифов как элементов социальной, политической, конфессиональной и этнонациональной идентичности.

Возражения со стороны многих специалистов уже долгое время вызывают также понятия «коллективная память» и «травма», употребляемые в контексте историко-мемориальных исследований. Между тем, например, П. Рикер, наряду с критикой различных форм «манипуляции и инструментализации памяти» и пониманием «фундаментальной уязвимости памяти», обусловленной «отношением между отсутствием вспоминаемой вещи и ее присутствием в форме представления», признавал опе-

ративное значение понятия коллективной памяти и «травматизма коллективной идентичности», справедливо подчеркивая «переплетение проблематики памяти с проблематикой идентичности – как коллективной, так и индивидуальной» (Рикер П. Память, история, забвение. М., 2004. С. 116, 119). При этом, безусловно, «...историку важно знать, с чем он имеет дело – с памятью главных действующих лиц, рассматриваемых по отдельности, или с памятью целых коллективов» (С. 133).

Историческая память рассматривается не только как один из главных каналов передачи опыта и сведений о прошлом, но и как важнейшая составляющая самоидентификации индивида, группы и общества в целом. Зафиксированные коллективной памятью образы событий в форме культурных стереотипов, символов, мифов выступают как интерпретационные модели, позволяющие индивиду и социальной группе ориентироваться в мире и в конкретных ситуациях. Данное направление исследований опирается на анализ социального опыта, исторической ментальности и исторического сознания, которое конструирует образ прошлого, соотносясь с запросами современности: происходящие в современном обществе перемены порождают у него новые вопросы к минувшему, и чем значительнее эти перемены, тем радикальнее изменяется образ прошлого, складывающийся в общественном сознании. При этом образы прошлого, составляющие важную часть коллективной идентичности, могут служить легитимации существующего порядка или, напротив, противопоставлять ему идеал «золотого века», формируя специфическую матрицу восприятия происходящего и выполняя функцию социальной ориентации. Одна из важнейших проблем, решение которых приобретает все большую актуальность, касается изучения изменяющихся в сменяющихся друг друга поколениях представлений о происходивших в прошлом глубоких социальных трансформациях и конфликтах, поскольку эти представления играют ключевую роль в идейной полемике и политической практике.

Активно обращаясь к проблемам исторической памяти в политическом контексте, историки в основном сосредоточены на разработке различных аспектов «использования прошлого» (включая технологии политического манипулирования) и «риторики памяти» (как риторики «прогресса и модернизации», так и риторики «упадка и ностальгии»), а также конкурирующих мемориальных практик. Однако механизмы фиксации и трансформации в исторической памяти разных поколений исторического опыта переживания народами и отдельными группами крупных исторических событий, социальных сдвигов и конфликтов, и особенно – в кросс-культурной и сравнительно-исторической перспективах, остаются до сих пор недостаточно изученными. А между тем этот аспект индивидуальных и коллективных представлений о прошлом имеет важнейшее значение для понимания человеческих действий и весьма разнопланово соотносится как с изучением трансформаций общественного сознания, так и с про-

блематикой истории исторической мысли и публичных социальных функций профессионального исторического знания.

Рассматривая в прагматическом ключе механизмы формирования, фиксации, сохранения, преобразования и передачи исторической памяти, социальное бытование представлений о прошлом в профессиональной и массовой культуре и их роль в общественной жизни и в политической ориентации индивидов и групп, нельзя забывать о когнитивной роли памяти. Синтез прагматического и когнитивного подходов принципиально важен для комплексного изучения способов формирования, фиксации, сохранения, трансформации опыта социальных катастроф в исторических представлениях «первого» и «второго» поколений, их последующей передачи и превращения в культурно-историческую память далеких потомков, а также механизмов функционирования феномена исторической памяти как средства ориентации индивидов и групп в окружающем их мире настоящего и фактора социального проектирования (выстраивания модели «желанного будущего»).

*О.Б. Леонтьева* (Самарский ГУ)

### **Историк в пространстве мифов: методологические проблемы изучения исторической памяти**

Одним из самых перспективных направлений развития современной исторической науки является изучение исторической памяти: специалисты говорят уже о «мемориальном уклоне» в исторической науке; о «парадигме памяти» в современном социально-гуманитарном знании; и даже о самой истории как «искусстве памяти».

Сущность «парадигмы памяти», сформировавшейся в русле исторической антропологии, состоит в том, что предметом исследования в данном случае становится не историческое событие или явление как таковое, а память о нем, живущая в сознании общества. Познание прошлого, в таком случае, рассматривается как избирательный и творческий по своей сути процесс, как реконструирование и переосмысление событий прошлого в меняющемся историческом контексте.

Предметное поле исследований исторической памяти очень широко и трактуется различным образом: коммуникативная память, охватывающая воспоминания трех-четырёх живущих ныне поколений, – и культурная память, соединяющая современность с давним прошлым; память архаичных, дописьменных обществ – и обществ с письменной культурой; «мягкая» память (личная, субъективная, запечатленная в дневниках и воспоминаниях) – и память «жесткая» (закрепленная, кристаллизованная в форме разнообразных «мест памяти», музейных экспозиций, календаря официальных памятных дат, мемориалов и церемониалов); обыденные представления о прошлом – и эволюция практик историописания. Неуди-



вительно, что изучение исторической памяти в современной науке приобрело междисциплинарный характер: историки, обращаясь к этой сфере, используют методологический арсенал различных гуманитарных дисциплин – от семиологии до психоанализа, что неизбежно накладывает свой отпечаток на понятийный аппарат исследований исторической памяти.

В настоящее время в отечественной и зарубежной исторической науке можно выделить (разумеется, с неизбежной долей условности) несколько подходов к изучению исторической памяти. Своеобразным индикатором, позволяющим наглядно представить различия этих подходов, может служить категория *мифа*, активно применяемая в исследованиях по данной проблематике – и изменяющая свои значения в зависимости от контекста.

Один из этих подходов – **«история исторической культуры»**, представленный в исследованиях Российского общества интеллектуальной истории, сформировался как способ расширить традиционное проблемное поле классической историографии – через изучение структурных взаимосвязей «исторической мысли», «типа исторического письма» и «представлений о прошлом», что в совокупности образует «историческое сознание» (понятие, введенное М.А. Баргом) или «историческую культуру». Объектом изучения при таком подходе становится не только смена научных парадигм (как в классической историографии), а смена способов восприятия времени и истории, присущих той или иной культуре. Мифологическое сознание с его циклическим восприятием времени выступает в данном случае как отправной пункт долгой и противоречивой эволюции исторического сознания человечества.

Близко примыкает к «истории исторической культуры» такое направление исследований, как **«память и идентичность»** (глубоко разработанное в классических трудах Э. Хобсбаума и Б. Андерсона). Историческая память в рамках этого направления трактуется как способ создания и укрепления коллективной идентичности – национальной, государственной, классовой, конфессиональной или иной; общественное сознание – как поле соперничества разных проектов коллективной идентичности и разных образов прошлого. Проекты коллективной идентичности в таких исследованиях зачастую описываются через понятие «миф» – «национальные мифы», «государственные мифы», «сарматский миф», «кельтский миф» и т.д. Миф в данном случае выступает как сложный идентификационный механизм, обеспечивающий воспроизведение коллективной идентичности через постоянные отсылки к сюжетному повествованию об «общем прошлом», к его ключевым моментам и персонажам. Эти исследования тесно переплетаются с работами по **«политике памяти»** – практике использования исторических сюжетов для легитимации тех или иных политических систем, от монархических до либеральных или же тоталитарных.

Одним из возможных вариантов изучения исторической идентичности является **семиологический подход**, предполагающий анализ ключевых категорий культуры, использующихся при конструировании образов прошлого и настоящего, – своего рода «координат семантического пространства»: «Мы – Другие», «Свое – Чужое», «Герои – Враги», «Время – Пространство», «Должное – Сущее» и т.д. В рамках этого подхода памятники исторического сознания той или иной эпохи – даже труды профессиональных историков – могут рассматриваться не как историографические факты, но как исходный материал для работы антрополога по реконструкции картин мира. Таким образом, выявляются устойчивые идентификационные структуры коллективного сознания, – и эти структуры могут быть также охарактеризованы как мифологические (Т.А. Сабурова).

В многочисленных работах, посвященных тому, как реальное событие исторического прошлого превращается в «миф» исторической памяти, зачастую используется **архетипический** подход. Историк, выступающий в данном случае в роли дешифровщика мифа, прослеживает, как за образами исторических персонажей, тиражируемых пропагандой или массовой культурой, встают архетипические, фольклорные прообразы; как историческое повествование о реальных событиях komponуется по принципу «мифологического детерминизма».

Наконец, одним из самых востребованных является **«психоаналитический подход»** (Й. Рюзен), ключевыми понятиями для которого являются травматическая память, вытеснение и замещение травмирующих воспоминаний, – то есть механизм психологической реабилитации поколений, переживших пограничный опыт. В рамках этого подхода сама историческая наука с ее историографическими стратегиями предстает как практика преодоления посттравматического кризиса идентичности, возврата утраченного ощущения осмысленности истории. Логично, что и в рамках психоаналитического подхода к исторической памяти одной из ключевых категорий становится «миф», поскольку (по Ф. Анкерсмит) адекватно описать экзистенциальную ситуацию крушения идентичности и перехода к новой, посттравматической идентичности можно только на языке мифа.

Таким образом, можно считать, что категории «мифа», «мифологического» стали ключевыми при изучении исторической памяти. Но спектр их значений изменяется в зависимости от контекста исследования и подхода, избранного автором. Миф предстает то как наиболее глубокий, архаичный пласт исторического сознания; то как идентификационный механизм, имманентно присущий любой человеческой культуре; то как «единица измерения» исторической памяти; то как своеобразный «спасательный модуль», необходимый в ситуации кризиса идентичности. Неизменным остается лишь убеждение, что под покровом современной культуры, светской и рациональной, обнаруживаются структуры, характерные для архаичного сознания.

Изучение исторической памяти для современной науки, по сути своей, – один из способов не только «вернуть в историю человека», но и вернуть исторической науке живой интерес читателя-непрофессионала. Это направление исторической науки выводит исследователей на самые глубокие проблемы философской антропологии – и одновременно держится на самом бескорыстном виде любопытства: на живом человеческом интересе к «Другому», к другим способам осмыслить человеческое бытие.

*И.Н. Ионов* (Институт всеобщей истории РАН)

### **Трудности междисциплинарного перевода и их преодоление: миросистемный подход и постколониальный дискурс**

Налаживание междисциплинарных связей наиболее сложно в случаях, когда речь идет не просто о различных дисциплинарных областях, но и о разных научных парадигмах. Собственно, с точки зрения Т. Куна, такой диалог принципиально невозможен из-за того, что тут сталкиваются разные метафизические основания; доказательство в этих вопросах невозможно. Однако на деле все обстоит сложнее, о чем говорит опыт взаимодействия миросистемного подхода и постколониального дискурса, которые не просто представляют обществоведческий (экономико-социологический) и гуманитарный (культурологически-филологический) дисциплинарный блоки, но и относятся к разным пластам знания – классическому (объективистскому, структуралистскому, эволюционистскому) и неклассическому (деконструктивистскому, постструктуралистскому, релятивистскому). Непосредственные контакты между ними крайне затруднены из-за резкой взаимной критики, но взаимодействие все же осуществляется через общий культурный и идеологический контекст, а его развитие требует создания языка для оптимизации взаимодействия.

Воздействие постколониального дискурса на миросистемный подход сказалось довольно скоро. В 1978 г. вышла классическая книга Э.В. Саида «Ориентализм», показавшая, что негативный образ Востока был создан европейской наукой не столько с целями познания, сколько для культурной самоидентификации, а уже в начале 1990-х гг. концепция И. Валлерстайна, ориентированная на исследование капиталистической миросистемы XVI–XX вв. и недооценивавшая другие миросистемы и особенно «первобытные» минисистемы, была пересмотрена. Дж. Абу-Лугод критиковала предшественников за «бессознательное сползание к европоцентризму» и ввела представление о глобальной системе экономических связей, сложившейся в результате расцвета культур как Запада, так и Востока. Принципиальным нововведением была ее интерпретация «поворотного пункта» в истории человечества: это уже не истоки капитализма (XVI в.), а создание систематических связей Востока и Запада (XIII в.). Она критиковала идею традиционализма, доказывая, что в социальном

отношении Европа и Азия были близки, и не было никаких внутренних препятствий для того, чтобы современная миросистема могла сложиться на базе Востока. Еще дальше пошли К. Чейз-Данн и Т.Д. Холл, которые уравнили в правах минисистемы и миросистемы, стали описывать как самодостаточные «миры» догосударственные сообщества разного типа.

Это поставило проблему сравнительного анализа миросистем. Наиболее очевидным шагом в этом направлении был диалог с культурологической школой истории цивилизаций, которая обладала опытом подобных сравнений. Однако такое взаимодействие не было столь легким, как представляется некоторым авторам. В статье К. Чейз-Данна и Т.Д. Холла диалог на деле свелся к взаимодействию с одним направлением теории цивилизаций, наиболее далеким от культурологии, сводящим понятие цивилизации до представления о политической общности – с историей «Центральных цивилизаций» Д. Уилкинсона. В результате, доминирующим в миросистемном подходе остался интерес к гегемонии и роли центра миросистемы, догосударственные и государственные миросистемы оказались вновь выстроены в иерархические отношения, а внимание постколониалистов к самоидентификации связывалось с деградацией капиталистической миросистемы. Не случайно, что самому Д. Уилкинсону могло показаться, что в этом варианте миросистемный подход и теория цивилизаций – это одно и то же. Но не менее правомерно и высказывание Б.С. Ерасова, который утверждал, что миросистемный подход имеет редуccionистский, монокаузальный характер, игнорирует духовную жизнь общества. Этим в равной степени отличались миросистемный подход образца 1995 г. и концепция Д. Уилкинсона. Ни о каком прямом взаимодействии с постколониальным дискурсом в этих условиях говорить было невозможно.

Перелом наступил только в 1995–2000 годы и был связан с ограничением воздействия и деконструкцией старого, европоцентристского дискурса, с новой стратегией осмысления реальности глобализации, с выбором нового объекта исторического анализа, что позволило создать диалоговый дискурс.

Этому служило развитие понятия глокализации, которое к 1995 г. стало обозначать порождение локальных самоидентификаций и специфических форм культуры в результате разрастания миросистем и универсализации связей между людьми. В результате ключевой для постколониального подхода термин «самоидентификация» приобрел позитивное значение. Возникла возможность равноправного описания государственных и догосударственных миросистем и цивилизаций. При этом Робертсон стремился выстроить свой собственный дискурс, споря как с марксистскими социологами-«гомогенизаторами», не признававшими самостоятельную роль локального, так и с постколониальными культурологами-«гетерогенизаторами», игнорировавшими роль универсального.

Переломным представляется сборник статей, изданный Т.Д. Холлом в 2000 г. (Hall T.D. *Frontiers, Ethnogenesis and World-Systems: Rethinking the Theory // A World-Systems Reader. New Perspectives on Gender, Urbanism, Cultures Indigenous Peoples and Ecology* / Hall T.D. ed. Langham, 2000). Он предлагал новый предмет анализа – фронтир, пограничье миросистем и поле взаимодействия между ними, а также поле инкорпорации одной миросистемы в другую. Холл подвергал критике «гоббсовский подход» к «племенным обществам», которые рисовались в европоцентрической перспективе как варвары, ведомые традицией, как предмет объективного анализа западной этнографии. Холл показывает, что рост агрессивности американских индейцев был связан с процессом их инкорпорации в общество США и сопровождавшей его деградацией. В итоге в рамках миросистемного анализа возникает важнейшая для постколониальных критиков тема гибридной культуры. Это становится основой для широкого диалога этих направлений.

В результате были созданы основы нового языка взаимодействия постколониального подхода и миросистемной теории, которое мы наблюдаем в сборнике 2007 г. (*The Postcolonial and the Globalization Theory* / Krishnaswami, R., Hawley, J.C., eds. Minneapolis, 2007). В статье постколониального мыслителя Р. Гроссфюгеля теория миросистем И. Валлерстайна является как стороной диалога, так и объектом частичной деконструкции. На примере опыта жизни пуэрториканцев в США он, применяя методологию изучения колониальности власти, показывает, что колониальное различие не исчезает в центре современной миросистемы (как думал еще Р. Робертсон), а воспроизводится в нем.

Из этого следует, что создание языка для диалога в пространстве социо-гуманитарного знания не может быть осуществлено одномоментно. Это долгий и трудный процесс, предполагающий как удаление элементов старого дискурса, так и перестройку контекста и конструирование нового предмета диалога.

***В.В. Шапаренко*** (Сочинского государственного университета туризма и курортного дела)

### **Историко-культурная концепция С. Хантингтона: идея мультикультурности в контексте междисциплинарных связей**

Американский политолог Сэмюэль Филлип Хантингтон предложил один из вариантов мультикультурного анализа и понимания современности с целью теоретического исследования и прогнозирования. Согласно взглядам учёного, человеческая история – это история конфликтов: правителей, наций, идеологий и цивилизаций. Хантингтон отождествляет понятия «культура» и «цивилизация».

Понятие «цивилизация» в теории Хантингтона диалектично, как диалектична и сама идея мультикультурности. Сначала учёный подразумевает под цивилизацией наивысшую форму культурной общности людей и широчайший спектр признаков, определяющих культурную самобытность народа. В связи с этим С. Хантингтон утверждает идею мультикультурности современного человечества. Однако в своих дальнейших рассуждениях он приходит к выводу о противостоянии западной и незападных цивилизаций, объединяя ислам, конфуцианство и православие в блоки, противостоящие Западу. Затем ученый утверждает, что существует одна супердержава (США). Все остальные являются «главными степенями» или «культурами–цивилизациями». Именно так американский мыслитель видит уни-многоцивилизационную систему мира.

Говоря о возможности возникновения конфликтов, Хантингтон выделяет два уровня противостояний. На микроуровне наиболее напряженные линии разлома проходят между исламом и его православными, индуистскими, африканскими и западнохристианскими соседями. На макроуровне самое главное разделение – «Запад и остальные», и наиболее ожесточенные конфликты случаются между мусульманскими и азиатскими странами, с одной стороны, и Западом – с другой.

С. Хантингтон полагает, что в отношениях между Америкой и Европой преобладает экономическая конкуренция, в то же время евразийские этнические конфликты, доходящие до «этнических чисток», могут быть значительно опаснее, в смысле кровопролитности, поскольку здесь затронут культурный, идентификационный компонент. То есть если конфликты происходят между группами, относящимися к разным цивилизациям, то в этом случае принимают наиболее крайние формы. Очевидно, что учёный выходит за рамки своей же идеи «конфликта цивилизаций», как «конфликта культур». Именно США на макроуровне выстраивают линии взаимодействия с другими культурами – цивилизациями, удел которых – микроуровень.

Здесь кроется важнейшее противоречие его теории: с одной стороны, мир «многополярен» и культуры–цивилизации относительно равнозначны, с другой – США и все остальные. Возможно, если бы Хантингтон обозначил: культурная идентичность – удел цивилизаций, а экономический интерес – фундамент межцивилизационного общения, концепция приобрела бы более стройный и менее противоречивый облик.

Следовательно, именно идентичность, по мнению Хантингтона, является фундаментом, базисом, на котором держится цивилизация и который скрепляет цивилизацию. В свою очередь, важнейшая цивилизационная черта – «степень идентификации». Пожалуй, именно упор на данную характеристику культур отличает цивилизационный анализ С. Хантингтона от других теоретиков цивилизационного подхода (Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби). Важнейшим условием создания цивилизации и её единства является, по мнению учёного, ут-

верждение в сознании представителей этой цивилизации чувства принадлежности к ней, т.е. ощущения своей идентичности.

С. Хантингтон подробно анализирует американскую идентичность и её проблемы, возникшие после окончания «холодной войны». Главные культурные идентификационные ценности Америки: протестантские ценности и мораль, этническое большинство англосаксов, а также английский язык, британские традиции права, справедливости и ограниченный власти правительства и европейские традиции искусства.

Однако во второй половине XX в. национальная идентичность американцев стала ослабевать, вытесняться идентичностями субнациональными (мексиканские, китайские, филиппинские, кубинские иммигранты), субкультурными (афро-американцы) и т.д. Этому, по мнению профессора, способствовал взятый элитами курс на поощрение мультикультурности, который с утратой англо-протестантской идентичности американцев может привести к распаду США.

Америка, как убедительно доказывает профессор Хантингтон, находится на переломе, и от того, в какую сторону качнется маятник, зависит будущее не только США, но и всей мировой системы. Идеальный образ хантинговской модели англо-протестантской культуры Америки становится образом прошлого. Утверждая особый характер Западной культуры и её преемницы – американской англо-протестантской культуры, учёный отстаивает национальное достоинство *своей* цивилизации, что с патриотической точки зрения похвально. Однако рецепт спасения Американской идентичности, предлагаемый учёным, вызывает разочарование, большие сомнения и даже опасения, уводя в эпоху разрешения конфликтов по принципу талиона. Это идея «национальной уязвимости», толкающая американцев к жизни в страхе от постоянной «невидимой» угрозы.

К сожалению, учёный только постулирует, но не доводит до конца столь необходимую идею мультикультурности. Представляется, что постоянный диалог с позиций гуманизма способен решать очень непростые вопросы современного нам поликультурного мира.

Существенно, что профессор заговорил о культурах–цивилизациях как важнейших стратегических характеристиках современного мира. Пусть некоторые высказывания С. Хантингтона и противоречивы, но он обратил внимание учёных и политиков на важнейшую цивилизационную особенность – чувство идентичности. Другая заслуга учёного состоит в том, что он сделал акцент на идее многополярности пусть даже «униполярного» мира. Историко-культурная концепция С. Хантингтона, входя в содержательное поле целого ряда гуманитарных, на самом деле выходит на антропологическую проблематику, позволяющую именно с позиций мультикультурности говорить о гуманизме людей, этносов, конфессий в различных предметных областях.

**Междисциплинарность исследования проблем досуга  
и досуговой культуры второй половины XIX – начала XX вв.\***

Возникновение понятия досуга как «времени отдыха», как «праздного времени» связано с теми технологическими, экономическими и культурными изменениями XIX в., которые повлек за собой переход к индустриальной эпохе. Развитие промышленности, разделения и организации труда разрушили монополию характерного для традиционных обществ единого временного цикла чередования труда и отдыха, стимулировали разграничение сфер труда и отдыха, способствовали появлению «важнейшей для модернизационного дискурса категории праздного времени» (Живов В.М. Заметки о времени и досуге // Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура. М., 2004. С. 747).

Сами эти обстоятельства «рождения досуга» индустриальной эпохи обусловили то, что исследование сферы свободного времени, отдыха и развлечений второй половины XIX – начала XX вв. было начато прежде всего усилиями социологов той эпохи. В частности, проблемы соотношения труда и отдыха в современном ему европейском обществе рассматривал в своих трудах К. Маркс. Весьма значимую роль для стимулирования исследований досуга сыграла работа Т. Веблена «Теория праздного класса» (1899). Однако уже в первой половине XX в. проблемы изучения досуга в западноевропейском гуманитарном знании были обозначены и как весьма важные для понимания культуры (Й. Пипер).

Вопросы, касавшиеся проблем досуга и досугового времени, нашли отражение и в российской литературе XIX – начале XX вв. По большей части, она носила практический, утилитарный, отчетно-статистический характер, принадлежала перу людей, по долгу службы занимавшихся этими вопросами. И чаще всего эти работы – прямо или опосредованно – касались проблем бюджета рабочего и досугового времени в связи с рассмотрением положения отдельных категорий населения, прежде всего рабочего класса. Вопросы истории досуга были органично включены в труды российских историков-бытописателей XIX в. Правда, они больше касались традиционной, сельской досуговой культуры. Несмотря на интерес к этой тематике представителей разных гуманитарных и социальных дисциплин, обозначилось несомненное «лидерство» в этой области социологических исследований.

В 1960-е гг. исследования досуга обрели «новое дыхание». Интерес к досугу был столь велик, что социологи даже заговорили о кризисе

---

\* Исследование проведено в рамках стипендии Германского исторического института в Москве и Фонда Герды Хенкель (Дюссельдорф, ФРГ) AZ 12/SR/06, тема «Досуговая культура российского провинциального города второй половины XIX в.»



прежнего «общества труда» и продвигали идеи о формировании «общества досуга». Разумеется, в 1970–1980-е гг. исследования досуговой сферы испытали сильное воздействие, прежде всего, именно социологических подходов, что было связано с изучением социологами последствий индустриализации для европейских обществ XVIII–XX столетий (проблем труда, бюджета времени, разделения сфер труда и отдыха, использования свободного времени).

В конце 1970-х – 1980-х гг. в рамках исследований социальной истории проблемы досуга стали разрабатывать и историки. Однако чаще всего они «заимствовали» у социологов теоретические концепты, стереотипы и, конечно, объект исследования. Этим объектом оказывался, в основном, досуг городских рабочих XVIII–XX вв., рассматриваемый в связи с условиями их труда и повседневной жизни. В связи с проблемами труда и положением рабочих касались вопросов досуга и советские и постсоветские исследователи.

В последние десятилетия распространение культурно-исторических исследований и междисциплинарных подходов обусловили новое качество изучения досуга и досуговых практик. Историков все больше интересуют культурологические, культурно-исторические аспекты. В ряде исследований были обозначены важнейшие проблемы изучения европейского и российского городского досуга конца XIX – начала XX вв., а также ряд факторов, определивших его новое качество: быстрое развитие индустрии, в том числе индустрии развлечений; демократизация общества и развитие массовой культуры. Появились работы, посвященные отдельным формам городского досуга, а также немногочисленные работы, специально посвященные феномену городского досуга. Тем не менее, досуг остается сегодня весьма актуальной и все еще недостаточно изученной научной проблемой. И наиболее оптимальным инструментарием исследований досуга представляется сочетание методов ряда социальных и гуманитарных дисциплин. Полидисциплинарность или междисциплинарность – качество изучения досуга, сложившееся еще с XIX в., и сегодня – в новом обличье и сочетании подходов – не утратившее свой эвристический потенциал.

*Р.А. Циунчук* (Казанский ГУ)

### **Современная отечественная литература о национальном вопросе в Государственной думе Российской империи: преодолевая стереотипы и разорванность историографического пространства**

Государственную думу 1906–1917 гг. в российской (и в советской) историографии рассматривали как арену противостояния классов и партий, упуская из виду, что она стала первым местом, где встретились и начали совместно работать в качестве законодателей выборные предста-

вители практически всех народов и регионов Российской империи. Поскольку в советском обществоведении думская политика рассматривалась как второстепенная, то отечественная историография ограничивалась привлечением в качестве иллюстрации к национальной политике царизма фрагментов думских дискуссий по законопроектам о вероисповеданиях, об автономии Финляндии, о создании Холмской губернии, о введении земства в западных губерниях и других.

Отдельные думские сюжеты, связанные с национальной проблематикой, в 1960–80-е гг. начали освещаться в советской науке в контексте думской тактики большевиков, в рамках изучения истории правительственной политики периода и истории общероссийских партий. Созыв Государственной думы Российской Федерации актуализировал исследование думской тематики. С середины девяностых годов прошлого века проблема «Национальный вопрос и Государственная дума» начинает результативно исследоваться в двух взаимосвязанных ракурсах: *в общеимперском* (законотворчество по национальному вопросу в Думе, анализ выборов в многонациональных регионах, этноконфессиональный состав Думы и ее фракций, обсуждение комплекса национально-религиозных и региональных проблем) и *в локальном* (выборы в регионе, деятельность местных депутатов и отдельных национальных фракций в Думе).

История думского законотворчества по национальному и конфессиональному вопросам привлекает внимание современных исследователей. В.Ю. Зорин, С.В. Кулешов и Д.А. Аманжолова пришли к выводам, что думское представительство «конфессиональных, национальных и иных интересов... было сдвигом в сторону демократии», но практическая «неэффективность национальной политики самодержавия в начале XX века подтверждала неизбежность распада авторитарной системы» (Зорин В.Ю., Кулешов С.В., Аманжолова Д.А. Национальный вопрос в Государственных думах России: опыт законотворчества. М., 1999. С. 6, 200). Вероисповедальные вопросы в Думе оказались также в центре внимания монографий В.К. Пинкевич и А.А. Дорской.

Анализ соотношения имперского и национального в думской модели российского парламентаризма как через систему выборов, этноконфессиональный состав депутатов, так и через презентацию новыми думскими национальными элитами национально-конфессиональных и региональных интересов в ходе парламентской деятельности, позволил выйти на обобщение места и роли Думы в политической системе страны, являвшейся частью сложной системы «центр-регионы» Российской империи.

Характеризуя литературу, исследующую локальный ракурс думской проблематики, важно заметить, что ныне в России наиболее активно разрабатываются проблемы истории только двух из почти десяти думских национальных фракций – мусульманской и казачьей и связанных с ними регионов. Л.А. Ямаева, изучая «мусульманский либерализм» как общественно-политическое движение на материалах Уфимской и Оренбургской

губерний, показала деятельность уфимских и оренбургских мусульманских депутатов. Д.М. Усманова пришла к выводу, что «в качестве самостоятельной законотворческой силы депутаты-мусульмане были не слишком активны», но при рассмотрении наиболее значимых для мусульман вопросов – религиозного законодательства, проблем национального образования, переселенческой политики и положения национальных окраин, вопроса о праздничных днях и др. – мусульманская фракция действовала сплоченно. В монографии «Мусульманские представители в российском парламенте. 1906–1916» (Казань, 2005) она обстоятельно проанализировала отношения, связывавшие мусульманских депутатов с имперской властью, коллегами и единомышленниками по парламенту, региональными мусульманскими элитами и сообществами в центре и на периферии страны.

М.В. Братолубова проследила ход выборов в Области войска Донского, деятельность членов казачьей фракции в Думе и дискуссии по казачьему вопросу, воссоздала социокультурный портрет казаков-депутатов Думы. Л.А. Карапетян и Л.М. Галутво обратились к деятельности кубанских казаков в Думе. Обобщенное исследование парламентской деятельности депутатов от казачества выполнили В.Н. Сергеев и Д.Ю. Шапсугов.

Наметилась тенденция к изучению выборов и представительства крупных многонациональных регионов – Сибири, Урала, Поволжья. Современные работы отличает более широкая источниковая база и панорамное видение региональных политических процессов. Усилился интерес к роли православного духовенства и правых сил на выборах и в самой Думе.

Историческая традиция формирования и развития многонационального российского государства ныне активно раскрывается с помощью выявления ее регионального и федералистского компонента. Уже сегодня комплексное изучение региональных процессов в Российской империи позволило системно представить имперский строй России рубежа XIX–XX вв. в региональном измерении, в том числе показать важное место в нем думских структур.

В современной российской исторической науке обозначился интерес к отдельным национальным вопросам, составлявшим «общеимперский национальный вопрос». И.В. Михутина, изучая украинский вопрос в Российской империи рубежа XIX–XX вв., коснулась организации Украинской громады в Думе, участия общероссийских партий в обсуждении украинского вопроса в Думе. В коллективной монографии «Западные окраины Российской империи» (М., 2006) показано, что появление Думы заметно изменило «общий политический контекст развития национальных и конфессиональных отношений во всей Российской империи, а особенно в ее западных окраинах» (С. 343). А.А. Кузнецов проанализировал национально-региональные аспекты думского избирательного законодательства для балтийских губерний, отразившего политику власти в Отзейском регионе.

Отдельными направлением становятся историко-биографические исследования. Раньше такие работы выходили лишь о рабочих и социал-демократических депутатах, ныне появляются очерки о кадетах, октябристах, членах мусульманской фракции, казачьей и польско-литовско-белорусской группам.

Локализация исследований думской тематики, безусловно, имеет сильные стороны, если имеет возможность опереться на фронтальный анализ источников, на подробное рассмотрение изучаемых явлений и событий думской жизни. Наиболее серьезные региональные и локальные исследования дают картину, важную для характеристики проблем развития отдельного региона, этноса или группы этносов. Важно объединять как характеристику выборов, так и анализ деятельности местных депутатов и фракций, проводить параллели между этнополитическими процессами в различных регионах империи, проследить постдумскую судьбу депутатов.

Этапное значение имеет для изучения думской истории энциклопедия «Государственная дума Российской империи (1906–1917 гг.)». (М., 2006; М., 2008), где появились первые статьи о национальном и конфессиональном вопросах в Думе, о думских национальных фракциях и справки о всех депутатах Думы.

Таким образом, историки, политологи и юристы в последнее десятилетие используют междисциплинарные подходы и методики, обращают внимание не столько на « пороки » первого российского парламента, сколько констатируют, что Дума стала первым местом легальной презентации национальных интересов, обращают внимание на полученные обещания и во многом реализованные даже в период третьей юнкерской монархии законодательные, бюджетные, финансовые права Думы, что видоизменяло политическое содержание режима и открывало возможности для дальнейшего становления конституционной многонациональной монархии. Изучение выборов на окраинах империи и деятельности национальных депутатов Думы способствует переосмыслению всего комплекса этнических, конфессиональных и региональных процессов и проблем Российской империи через призму первого в России парламента.

*Ю.С. Обидина* (Марийский ГУ, Йошкар-Ола)

### **Иммортологические исследования в пространстве социогуманитарного знания**

Неиссякаемый интерес исследователей к теме смерти и бессмертия вызван ее необъятностью, глубиной и универсальностью, ведь именно «изучение природы бессмертия, воплощенной во внутренней форме ключевых его обозначений, дает ответ на вопрос о конце, а, следовательно, и о начале, и об истоках всего сущего» (Топорова Т.В. Древнегерманские

представления об ином мире // Представления о смерти и локализации иного мира у древних кельтов и германцев. М., 2002. С. 340).

Сегодня, когда на повестку дня поставлен вопрос о самом существовании человечества, проблема бессмертия приобретает не только личностный, но и глобальный характер. Развитие нанотехнологий и научной иммертологии свидетельствует о настоятельной потребности современного осмысления проблем бессмертия с междисциплинарных позиций для того, чтобы обретенное бессмертие не стало апофеозом ноосферы.

Таким образом, актуальность данного подхода определяется следующими моментами:

- вопросами, возникающими вследствие недостаточной изученности идеи бессмертия в контексте социогуманитарного знания и особенностей ее отражения в европейской культурной парадигме;

- необходимостью обоснования роли и влияния представлений о бессмертии в различных культурах на становление современной культурной традиции;

- недостаточностью исследований особенностей реализации представлений о бессмертии в современных научных концепциях;

- особенностями отношения к проблемам бессмертия в рамках постмодернистской культурной традиции.

Изучением представлений о бессмертии ученые занимаются на протяжении достаточно длительного периода времени, на разных уровнях, в разных аспектах. В общественном сознании конкурируют две концепции. Первую условно можно назвать пессимистической: в центре внимания ее – вера в бессмертие в потустороннем загробном мире. В русле второй концепции бессмертие видится в социальном, духовном плане, и как итог – в личностно-индивидуальном. В последние годы появилась и естественнонаучная концепция бессмертия. Она отражает попытки ученых добиться бессмертия человека как биологического вида и является рефлексией многовекового осмысления границ человеческой экзистенции.

Историки всерьез занялись вопросами смерти и бессмертия совсем недавно. Постепенно стало обнаруживаться, что смерть – это не только сюжет исторической демографии или теологии и церковной дидактики. Смерть – один из коренных параметров коллективного сознания, а поскольку последнее не остается в ходе истории неподвижным, то изменения эти не могут не выразиться также и в сдвигах в отношении человека к смерти. По мнению некоторых ученых (Ф. Арьеса, П. Шоню и др.), отношение к смерти служит эталоном, индикатором цивилизации. Восприятие смерти, загробного мира, связей между живыми и мертвыми – темы, обсуждение которых могло бы существенно углубить понимание историками социально-культурной реальности минувших эпох (А.Я. Гуревич).

Обширная литература по психологии (см. труды М.Д. Александровой, Н.Е. Бачерикова, П.П. Калиновского, К. Ламонта и др.) в центр изучения ставит человека, его индивидуальность и личное представле-

ние о бессмертии. Философская литература (см. работы Л.Е. Балашова, Е.Ю. Сиверцева, В.А. Конева, Ю.В. Хена и др.) ставит вопросы изучения поведения человека перед лицом смерти, о том, существует ли связь между установками в отношении к смерти, доминирующими в данном обществе на определенном этапе его развития, и самосознанием личности, типичным для этого общества. Поэтому в изменении восприятия смерти находят свое выражение сдвиги в трактовке человеком своего «Я».

Следует отметить, что в отечественных исследованиях советского времени вплоть до последней трети XX в. тема смерти и бессмертия была практически под запретом. Общеизвестно, что религиозная проблематика, занимавшая одно из центральных мест в отечественной историографии до революции, в советскую эпоху оказалась на периферии исследовательского интереса и рассматривалась либо с атеистических позиций, либо вообще исчезала из поля зрения авторов. Более того, в советские годы прослеживалась стойкая официальная установка на вытеснение темы смерти из сознания людей социалистического общества как идеи неконструктивной и пессимистичной. Допускались лишь единичные публикации, да и то, в основном, в рамках критики религиозной концепции бессмертия (И.Д. Панцхава, И.А. Крывелев, Н.А. Ильин, Д.Е. Михневич).

В 90-е годы XX в. ситуация стала меняться в сторону плюрализма мнений, альтернативности подходов к проблемам смерти и бессмертия. Тема смерти и ее место в жизни человека и человечества исследовалась А.В. Демичевым. Им была организована Ассоциация танатологов Санкт-Петербурга и инициировано проведение двух международных конференций «Тема смерти в духовном опыте человечества» (1993, 1995), ряда круглых столов, подготовка и издание пяти выпусков философского альманаха «Фигуры Танатоса».

На базе Института философии РАН также было представлено несколько концепций, обосновывающих ценность жизни через ее противопоставление идеи смерти или сопоставлении с ней. Большинство концепций носит онтологический характер, свидетельствующий о том, что интерес к проблеме смерти и бессмертия не является чисто академическим. В исследованиях И.В. Вишева содержится большой материал, основанный на анализе данных естественных наук, достижений медицины и техники. Большой интерес представляют исследования М.В. Соловьева и Г.Д. Бердышева. Естественнонаучный аспект исследований бессмертия человека открывает собой целый ряд новых вопросов и проблем.

В рамках культурологического подхода следует указать на группу исследователей, изучающих проблемы антропологии с позиций «Школы Анналов». Работы А.Я. Гуревича, Ж.Ле Гоффа, Ю.А. Бессмертного вносят весомый вклад в изучение повседневности средневековья.

В большей степени проблемы смерти и бессмертия рассматриваются в рамках био- и ноосферных процессов, геокосмической эволюции, экологии. Этот подход утверждается школой В.П. Казначеева, развиваю-

щего идеи Н.Ф. Федорова о бессмертии и космическом будущем преображенного человечества, К.Э. Циолковского о перспективах атомарного бессмертия, о разумном космическом будущем человечества, В. Вернадского о переходе от биосферы к ноосфере, об автотрофности человечества, А.Л. Чижевского о космобиологических параметрах существования человека.

Проблема экологии смерти разрабатывается в исследованиях В.А. Кутырева. Социальное значение проблем смерти и бессмертия рассматривается в работах С.Г. Спасибенко. Автор считает, что приоткрыть завесу над тайной бесконечности и беспредельности межпоколенных связей людей, вызвать особенности трансмиссии социокультурных ценностей призвана социология.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что проблема бессмертия не осталась без внимания ученых, однако ее изучение в рамках социогуманитарного знания значительно отстает от разработки в рамках отдельных концепций. В отечественных исследованиях осуществлены изыскания, во-первых, в области постановки вопросов проблемы бессмертия в рамках современной методологии, во-вторых, появились работы, в которых предпринимается попытка реконструировать представления о смерти в разных культурах и типах сознания. Но это слишком узкий подход. Огромный потенциал архетипической памяти культуры требует дальнейшего изучения и осмысления.

На сегодняшний день изучены только отдельные аспекты представлений о бессмертии души, о перевоплощении души в различные тела после смерти. До сих пор не разработаны онтология, метафизика, гносеология, антропология, аксиология бессмертия с точки зрения теории и истории культуры. Фактически, только поставлена проблема, но не дана характеристика взаимодействия и взаимовлияния научных и культурных концепций бессмертия. Такие темы, как типология бессмертия, социальная и культурная память общества, морально-нравственная позиция сторонников бессмертия в современной парадигматике культуры, еще ждут своих исследований. Представления о бессмертии в пространстве социогуманитарного знания еще не стали предметом комплексного анализа.

*Л.В. Фомина* (Казанский ГУ)

### **Фольклор в исследованиях национализма: подходы и методы**

Термин фольклор впервые был введен в научный обиход в 1846 г. английским ученым В. Томсом и в буквальном переводе означает: народная мудрость, народное знание. Понятие «фольклор», как и «культура», имеет много определений. Существуют широкая и узкая трактовки фольклора: либо как определение всей неписанной истории народа, либо как обозначение древних нравов, обычаев, обрядов и церемоний прошлых

эпох, превратившихся в суеверия и традиции низших классов цивилизованного общества.

Фольклор как многоплановый и полисемантический материал (комплекс) является ценным источником для широкого круга смежных дисциплин: литературоведения, лингвистики, искусствоведения, этнографии, истории. Каждая из этих наук имеет свой собственный взгляд на этот источник, свои методы и подходы к его изучению. В процессе развития фольклористики существовало несколько школ, которые видели в народном творчестве различные исторические корни («мифологическая школа» братьев Гримм, «теория заимствования» Т. Бенфея), разные этапы развития фольклора («антропологическая школа») и т.д. Общим для всех этих теорий было то, что они относились к фольклору как к неизменному сочинению прошлого. В начале XX в. такое отношение к фольклору было изменено, с одной стороны, работами представителей школы «Анналов», с другой стороны, исследованиями в русле структурализма.

Приблизительно в это же время фольклор как древнее национальное творчество становится объектом изучения и в исследованиях национализма. Как известно, существуют два значимых направления в изучении национализма: примордиализм и конструктивизм. Первый исходит из того, что нация есть извечный и естественный феномен, второй рассматривает нацию как искусственный продукт, сконструированный интеллектуалами. В рамках конструктивизма фольклорный материал «прочитывается» как неестественный конструкт, созданная традиция. Так, Э. Геллнер полагал, что для подавляющего большинства наций не существует исторической преемственности национальной и преднациональной культуры: «Национализм использует существовавшие до этого культуры и культурные богатства, хотя использует их избирательно и чаще всего радикально их трансформирует. Мертвые языки могут быть оживлены, традиции изобретены, вполне фиктивная первоначальная чистота нравов восстановлена» (Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. С. 56). Как свидетельствует другой известный конструктивист Э. Хобсбаум, «традиции», которые кажутся старыми или претендуют на то, что они старые, часто оказываются совсем недавнего происхождения и нередко – изобретенными. Хобсбаум дает и четкое определение того, что есть «изобретенная традиция» – «совокупность практик, ...направленных на привитие определенных ценностей и норм поведения путем повторения, которое автоматически подразумевает преемственность с прошлым» (Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. М., 2000. № 1. С. 47). При конструировании национальных сообществ, таким образом, должна быть изобретена историческая преемственность, в которую поверят представители этих сообществ, например, путем создания древнего культурного прошлого, не связанного с действительной историей. Таким образом, фольклорный материал отбирается и интерпретируется интеллектуалами, встраивается в общую логику идентичности государства.



Анализируя материал периодической печати конца XVIII – начала XIX в. на предмет конструирования этнических групп населения Российской империи, мы склонны соглашаться с исследователями российской повседневности XVIII–XIX вв., которые отмечают сконструированный, заимствованный и вариативный характер большинства идей и представлений людей этого периода. Поэтому наиболее важным направлением в исследовании фольклора на страницах журналов того периода является конструктивизм.

Для всего XVIII в. характерен стихийный интерес к фольклору; собиранием и публикацией народных произведений занимались редкие любители старины. Не случайно, издания М.Д. Чулкова, В.А. Левшина, Н.И. Новикова были крупными явлениями фольклоризма XVIII века. М.Д. Чулков известен и как прозаик («Пересмешник», 1766), и как составитель сборника народных песен, и как журналист. В 1769 г. он приступает к изданию сатирического журнала «И то и сию», в котором прослеживается просветительское отношение к фольклору, вмещающее свободное отношение к публикуемому материалу и создание собственных псевдофольклорных произведений. Подобный феномен наблюдается исследователями и в творчестве Н.И. Новикова. Таким образом, эти публицисты конструировали современные им отношения и традиции, которые легче воспринимались и принимались обществом, если имели «налет» древности и народной мудрости.

Другим специфическим явлением в периодической печати конца XVIII в. является представление о связи фольклора с народным суеверием, предрассудками. Высмеивая на страницах журналов «Беседующий гражданин», «Сатирический вестник», «Московский журнал» и др. традиции сельских праздников и увеселений, издатели формировали негативное отношение к низовой культуре жителей империи, одновременно создавая идеализированный образ античной культуры.

В начале XIX века начинается эстетическое и этическое признание значения фольклора. Место античной мифологии занимает мифология северных племен. В журналах в большом количестве появляются оригинальные и переводные статьи о народных обрядах и обычаях, описания народных праздников, тексты народных песен. Русский фольклор превращается в один из символов единой нации, коллекционируется интеллектуалами, тиражируется и публикуется, проникая в общественное сознание народа.

Изучение фольклора с позиций конструктивистского прочтения национализма открывает перспективу постижения общественных идей и представлений, исследования создания древней национальной традиции.

**Итальянистика как региональная, всеобщая  
и отечественная/национальная история  
(трудности перевода)**

Наибольшие трудности в медиевистике, в частности в исследованиях по итальянской истории, а также наиболее жаркие споры вызваны не разночтениями в области средневековой текстологии, не трудностями перевода с латыни на современные языки, а несовместимостью дискурсов, созданных разными историографическими традициями и школами.

Именно по поводу итальянистики средневековья, возможно, наиболее обеспеченной историческими свидетельствами и поэтому привлекательной для ученых-медиевистов из разных стран, сложилась ситуация несбалансированного обмена идеями и дисциплинарными достижениями.

Во-первых, существует диспропорция между изучением средневековой Италии с точки зрения регионального подхода и попытками вписать эту историю итальянских земель в дискурс всеобщей или же отечественной, национальной истории.

Во-вторых, плохо осуществляется контакт между платформами культурной антропологии и истории искусства, моды, костюма и повседневной жизни, истории права и социально-экономической истории, представленной в многообразии методов, включая инструменты вспомогательных исторических дисциплин.

Данное выступление объединяет анализ тем изучения региональной истории и междисциплинарных связей в пространстве социогуманитарного знания, и проблем микро- и макро-подходов, традиций и ре-актуализаций различных способов ведения исследований.

Доклад сфокусирован на проблеме взаимосвязи региональной истории и микро-подходов. Особое внимание уделено вопросу о взаимоотношениях правоведов и историков, с учетом доминирования правовых документов среди источников по истории Италии.

Далее будут рассмотрены случаи внезапной популярности некоторых историков историографических школ вне отечественной почвы, а также интересные примеры ре-актуализации, казалось бы, отвергнутого наследия. В качестве примеров современной ре-актуализации тенденций развития итальянистики различных периодов будут выделены проблемы развития историографических школ, связанных с марксизмом: в Италии начала XX столетия (Вольпе, Каджезе), в 1960-х – 1970-х годах (Табакко Керубини), в России советского периода (популярные за рубежом персоналии – В.И. Рутенбург, В.В. Самаркин).

Будут освещены вопросы развития количественных методов, работы с базами данных, которые также переживают второе рождение, несмотря на явное обеднение культуры данных исследований. Особо будет рас-

смотрен вопрос развития академического Интернет-сообщества и электронных ресурсов медиевистики и италянистики, применения компьютеринга в целях преподавания и обучения в области медиевистики (в частности, успехи прежде одной из самых отсталых стран в области компьютеринга и Интернета – Италии).

*С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева* (РГГУ, Москва)

### **Образовательные практики высшей школы: еще раз о краеведении и новой локальной истории**

При размышлении на тему «региональной истории» в первую очередь необходимо определить базовое понятие. Организаторы конференции вполне «политкорректно» выбрали, на наш взгляд, самое широкое из ряда понятий, обозначающих историческое пространство, отличное как от истории государства, так и от так называемой «всеобщей истории», представляющей собой, по сути, историю «духовной Европы» (Э. Гуссерль). И здесь есть о чем порассуждать, отталкиваясь, например, от понятия «умопостижимого поля истории», базового для цивилизационной концепции А. Тойнби.

Ограниченность государственной истории, которая ощущается научным сообществом вот уже более ста лет, плохо преодолевается в образовании. Все большее число историков выражает радикальное неприятие национально-государственных историй и даже слышатся призывы «спасти историю от нации». Однако, в России по-прежнему, основу исторического образования составляют курсы «отечественной истории» (часто именно в такой формулировке – «отечественной», а не «российской»), а инкорпорация во «всеобщую историю» происходит путем дурной компаративистики, примером чего является попыткам ввести понятие «отечественная история Древнего мира и Средних веков».

Но прежде чем преодолевать этот «недостаток» образования стоит подумать, почему эта образовательная модель оказалась столь устойчивой. В качестве дополнительной информации для размышлений стоит вспомнить и о том, что эта же модель воспроизводится на следующем уровне – ВАКа, где по-прежнему существует специальность 07.00.02 – «отечественная история» и специальность 07.00.03 – «всеобщая история», и никакой иной, «региональной».

На наш взгляд, это, с одной стороны, свидетельствует о нарастающем расхождении собственно научного / профессионального знания и возможностями его позиционирования в массовом сознании, с другой – о том, что, по-видимому, эта образовательная модель по-прежнему (хотя быть может и не в полном объеме) удовлетворяет потребности социума, по крайней мере, ту его базовую / первичную потребность в идентичности, которую, по преимуществу, и обеспечивает историческое знание.

Так каково место «региональной истории» в образовательных практиках высшей школы? Не будем сейчас говорить о той истории крупных «регионов», составляющую для любой «отечественной» истории все более расширяющееся (как правило, до уровня цивилизации) «умопостигаемое поле», что очевидно необходимо в условиях прогрессирующего в течение XX в. процесса глобализации.

В формулировке проблематики конференции за понятием «региональная история» следует понятие «региональные вузы», что сразу же переводит нас на уровень так называемого «краеведения», под которым явно и традиционно понимается исследовательское пространство меньшего масштаба, чем государство. Нам уже приходилось писать о нашем понимании различия понятий «новая локальная история» и «краеведение», которому присущи как *антикваризм*, так и черты *эрудитского* типа историописания.

В новой ситуации стоит сделать новые акценты.

В период активного формирования проблемного поля «новой локальной истории» мы естественно и вполне искренне обосновывали преимущества новой локальной истории как экстравертного типа знания, ориентирующего человека на мир и поиск своего места в нем, перед краеведением, представляющим собой, по нашему убеждению, знание интровертного типа или, как пишут зарубежные исследователи традиционной практики местной истории, модель «разделенной истории». Она проникнута определенной местной идеологией, рождающей ксенофобские, а также националистические тексты и присуща всем национальным историографиям, уходящим своими корнями в классическую европейскую историографическую традицию.

Но хотя со времени нашего поиска концептуальных основ новой локальной истории прошло не так много времени, эпоха сменилась. В настоящее время уже можно со всей определенностью утверждать, что кризис постмодерна, его трансформация в новую социокультурную ситуацию, именуемую – за неимением лучшего – пост-постмодерном, привели, в первую очередь, к трансформации функций исторического знания, что в значительной мере сказалось на соотношении «новой локальной истории» и «краеведения».

Если в ситуации постмодерна, в условиях кризиса доверия к историческому метарассказу (Ж.-Ф. Литар) и атомизации социума, историческое знание было призвано обеспечить человеку его собственную индивидуальную ориентацию в социокультурном пространстве и новая локальная история, на наш взгляд, лучше справлялась с этой задачей, чем традиционное краеведение, поскольку за счет компаративных подходов расширяла пространство идентичности, взятое как в коэзистенциальной, так и в исторической составляющей. Ситуация пост-постмодерна характеризуется, во-первых, поиском новых путей интеграции социума, в том числе и на основе общей истории (правда, выступающей уже по преимуществу не

как метанарратив, а как «места памяти»), и, во-вторых, уже не просто расхождением, а непреодолимым разрывом между профессиональным знанием и массовым сознанием.

В этой ситуации новая локальная история выступает как составляющая профессионального исторического знания, предметным полем которой является конструирование и исследование «умопостигаемого поля» истории, не тождественного государству. Эта задача тем более важна, что для новой ситуации характерен процесс глокализации, т.е. обнаружения локальных различий в рамках глобального социокультурного процесса. Краеведение же, обеспечивая локальную консолидацию социума через конструирование собственных «мест памяти», выступает как чрезвычайно важная форма общественного сознания. Очевидно, что с трансформациями нововременной науки, начиная с постмодерна, усложняются взаимоотношения между научным / профессиональным знанием и массовым сознанием. Речь уже не идет просто о позиционировании научного знания в массовом сознании через систему школьного образования и так называемую научно-популярную литературу. Необходимо вырабатывать новые модели взаимодействия, и в первую очередь – через краеведение и тесно связанную с ним работу музеев.

Следует понимать, что разговор о научности новой локальной истории и (не)научности краеведения должен учитывать тот факт, что речь идет не столько о разных исследовательских областях дисциплинарной историографии, сколько о разных практиках исторического сознания. Отношения традиционного краеведения с наукой более сложные, чем нам иногда кажется. В данном случае, «не научная» или «не совсем научная» практика традиционного краеведения не может оцениваться профессиональным историком как «плохая». Она просто *другая*, чем и представляет определенную культурную ценность. Однако нужно понять, что эта ценность больше принадлежит *общественному сознанию*, нежели историографии, и ее изучение может быть плодотворным только с учетом культурного контекста, представленного как историографией, так и общественным сознанием.

В последние годы все отчетливее выделяется мнение, что историки должны переоценить почти все прежние методы и подходы, отдать себе отчет об изменении эпистемологических основ исследований. Новая локальная история отказывается от традиционных территориальных / административных образцов и сосредоточивает внимание на «*пространстве*» и «*пространственных образах*», проявляет интерес к «*образу жизни*», «*культурному значению*» и т.д. Пространственный подход к исследованию любого локуса несет в себе импульс отказа от обслуживания государственно-этнического нарратива. Погружающийся во фрагментарные, произвольные пространственно-временные ряды историк перестает быть государственным биографом, так как он не обязательно находит консенсус с метанарративным стилем истории государственной механической сборки

территорий. Тем самым новая локальная история бросает вызов национализму и местной ксенофобии, дает возможность находить иные темы в пределах больших социальных и культурных структур.

Поэтому, на наш взгляд, в актуальной социокультурной ситуации целесообразно преподавать в высшей школе региональную историю в парадигме новой локальной истории и с расчетом на дальнейшее участие профессионально подготовленных специалистов в формировании общественного сознания, в том числе через краеведческое движение.

*Н.Ю. Старкова* (Удмуртский ГУ, Ижевск)

### **Финно-угроведение как вариант реализации регионального компонента исторического образования в провинциальном вузе**

С появлением в 2000 г. государственных стандартов второго поколения по истории методом достижения вариативности и повышения качества образования постепенно становился национально-региональный (вузовский) компонент. По мере осознания важности данной новации шли творческие поиски в направлении того, чтобы он стал подлинным средством образовательной и культурной коммуникации.

В государственном стандарте специальности заложено изучение дисциплины «История регионов и народов России», в рамках которой выбор курсов осуществляется вузами в соответствии с региональной спецификой. В связи со сложившейся на историческом факультете УдГУ практикой в данном блоке дисциплин студенты изучают курсы исторического краеведения, истории Удмуртии, истории Урала, а также истории и культуры удмуртского народа. «Местный» (по преимуществу финно-угроведческий) материал, безусловно, представлен в преподавании археологии, этнографии и ряда других общепрофессиональных дисциплин.

В рамках специализаций региональный компонент присутствует в программах, по которым студенты углубленно изучают отечественную историю, и доминирует в тех, по которым преподается археология и этнография. С введением стандарта второго поколения на факультете ведется подготовка по специализации «Историческое краеведение и музееведение». В рамках специальных дисциплин студенты имеют возможность детально познакомиться с такими проблемами финно-угроведения как «История культуры народов Поволжья и Приуралья», «Историческая динамика материальной культуры», «Этнография финно-угорских народов», «Этнопсихология», «Финно-пермские народы на историко-археологической карте средневековой Евразии», «Проблемы сохранения культурного наследия», «История и источники краеведческих знания» и др.

Теоретические знания дополняются практическими навыками, полученными в ходе археологической и этнографической практик первокурсников, а также соответствующих экспедиций для специализирую-

щихся в этой области студентов третьего и четвертого курсов. Многогранная деятельность археологов проходит под эгидой созданного в 1993 г. под руководством д.и.н., проф. Р.Д. Голдиной Научно-исследовательского института истории и культуры народов Приуралья. С 1972 г. кафедрой этнологии и регионоведения проводятся этнографические экспедиции по сельским районам Удмуртской Республики, а также организуются исследования локально-проживающих групп удмуртов на территориях сопредельных с Удмуртией областей и республик. В ходе музейно-экскурсионной практики студенты часто проходят практику в историко-этнографическом комплексе «Лудорвай», расположенном в деревне Ильинка Завьяловского района республики.

Финно-угроведческая проблематика реализуется в выпускных квалификационных работах. Работы студентов по этнологии, осуществляемые по кафедре этнологии и регионоведения, возглавляемой авторитетнейшим специалистом в области финно-угроведения проф. В.Е. Владыкиным, имеют междисциплинарный характер. Важным направлением исследований стало изучение культурных традиций и религиозных верований удмуртов. Защита таких работ как «Феномен жертвоприношений в традиционной этнокультуре удмуртов XVIII–XIX вв.», «Этноконфессиональная ситуация в Удмуртской республике в постсоветский период», «Феномен коня в традиционной этнокультуре удмуртов» на практике создает ситуацию научной, образовательной и культурной коммуникации, базирующейся на региональном компоненте.

В современных условиях перехода на государственные стандарты третьего поколения и, соответственно, двухуровневую систему подготовки по направлению «История» встает вопрос о преемственности классических традиций, накопленных высшей школой и, соответственно, о перспективах дальнейшего развития. В результате дискуссий и обсуждений стандартов третьего поколения удалось сохранить одно из главных достоинств современного исторического образования – его фундаментальность. В новые учебные планы подготовки бакалавров истории введена и рассматриваемая область исторического знания – региональная история. Она представлена в межкафедральных профилях «Историческое краеведение» и «Историко-культурный туризм». Принципиальной смены парадигмы по принципу «от общего к частному» это, конечно же, не означает, но каждому историку ясно – активно изучать нужно и то, что рядом. Понятия «локальная история», «микроистория», «менталитет» станут основополагающими для краеведения.

На магистерском уровне образовательный стандарт содержит большие возможности для продолжения и развития деятельности существующих научных школ по отечественной истории, археологии и этнологии. Финно-угроведение должно при этом стать ведущим направлением развития Удмуртского государственного университета как научно-исследовательского.

### **Вузовский курс истории Республики Башкортостан**

В условиях интенсивных межгосударственных коммуникаций, обусловленных глобализацией и регионализацией, важное значение имеет гражданская и духовно-профессиональная ответственность вузовской молодежи за перспективы нашего Отечества. Дипломированный специалист должен хорошо представлять исторические и культурные ценности, социально-экономические и политические приоритеты своей республики как одного из субъектов Российской Федерации.

В высших учебных заведениях Республики Башкортостан образовательные программы формируются с учетом приоритетности глубокого изучения курса «Отечественная история», в этом ключе – и истории своей республики. Без знания истории своей, как принято называть Малой Родины, трудно понять историческую значимость отечественной и мировой цивилизаций. Да и рыночная экономика своими плюсами и минусами заставляет каждого человека, не говоря уже о специалисте с высшим образованием, хорошо знать местный край, его историко-культурное своеобразие и экономическую специфику на общероссийском фоне. Это дает будущему дипломированному специалисту возможность свободно ориентироваться в его профессиональной деятельности и успешно сотрудничать с отечественными и зарубежными деловыми партнерами.

По инициативе и приказу ректора Уфимской государственной академии экономики и сервиса д.э.н., проф. А.Н. Дегтярева в учебные планы всех специальностей Уфимской государственной академии экономики и сервиса как самостоятельный курс введена «История Республики Башкортостан» с древности и по настоящее время. На лекциях и семинарских занятиях студенты в первую очередь приобщаются к научному творчеству известных отечественных историков, авторов фундаментальных трудов по истории Башкортостана. Большое научно-методологическое и воспитательное значение имеет двухтомный фундаментальный труд ученых Башкирского государственного университета (История Башкортостана с древнейших времен до наших дней: В двух томах. Уфа, 2007). Неоценимую помощь при изучении вузовского курса «История Республики Башкортостан» оказывают научные труды ученых Уфимского научного центра РАН и АН РБ, а также труды члена-корреспондента РАН, д.и.н., проф. Р.Г. Кузеева, посвященные проблемам этногенеза и этнической истории башкирского народа, формирования этнического состава населения Волго-Уральской историко-этнографической области. Библиографическую ценность представляет историческая монография В.Н. Витебского «И.И. Неплюев. Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 г. Вып. 3. Казань, 1891». Также студентам предоставлена



возможность ознакомиться с научным наследием академика Матвея Кузьмича Любавского, находившегося в Уфе в 1931–1936 гг.

В изучении истории Башкортостана всесторонне учитывается профиль специальности. Например, на специальности «Туризм и гостеприимство» студентам читаются лекции по вопросам историко-культурных ресурсах туризма в республике. По проекту «Золотое кольцо Башкортостана» определены туристические маршруты, проходящие через исторические достопримечательности края.

Одна из главных задач при изучении истории Республики Башкортостан – это формирование у студентов исторического представления об общих закономерностях и своеобразных особенностях социально-политического, культурного и экономического развития Башкортостана, что особенно необходимо для его профессиональной деятельности в будущем, то есть после окончания академии.

*Д.А. Черниенко (Ижевск–Уфа)*

### **Украинистика в Уфе: традиции региональной истории**

Башкортостан – регион России, где исторически сложилась одна из наиболее многочисленных и компактных групп украинского населения. Начало формирования украинской диаспоры относится к 1730–40-м гг., когда были заложены основы политики «правительственной колонизации» по привлечению переселенцев из юго-западных областей империи для освоения земель и строительства крепостей на новых границах государства. Впоследствии важную роль сыграли такие сложные социальные процессы как активное привлечение выходцев с Украины в Оренбургское казачье войско на рубеже XVIII–XIX вв., организация соледобычи на р. Илек с приписными крестьянами, в том числе украинского происхождения, массовые переселения селян на восток по причине обезземеливания после отмены крепостного права в 1861 г., реализация столыпинской аграрной реформы 1906–1916 гг. В этот период башкирские земли превращаются в один из основных объектов крестьянских миграций, а украинское переселенческое движение достигает своего кульминационного уровня. Положительная динамика увеличения численности украинского населения продолжалась и в 1920–30-е гг., а также в ходе эвакуации во время Великой Отечественной войны. К концу 1980-х гг. на территории Башкортостана проживало почти 75 000 украинцев, что являлось одним из самых высоких показателей среди всех регионов России.

Таким образом, украинцы на башкирских землях являются давними поселенцами. На их примере имеется возможность изучать этнографические особенности, закономерности изменения в этнодемографической структуре, материальной и духовной культуре малой этнической группы, находящейся длительное время в инонациональном полиэтничном окру-

жении. С этой точки зрения, совершенно закономерно, что именно в Уфе были заложены традиции серьезных разносторонних исследований в рамках украинистики и появились предпосылки для складывания одного из крупнейших в России научных направлений.

Первый этап изучения украинцев в Башкортостане местными учеными приходится на середину и вторую половину 1920-х гг., когда в башкирской научной периодике появляются публикации, в которых анализируются материалы переписей населения, даются развернутые характеристики аграрной и переселенческой политики, численности и расселения, занятий, культуры народа (Н. Барсов, Г. Комиссаров, М. Никитин, Г. Солодий и др.).

Второй этап связан с деятельностью в Уфе Института общественных наук, эвакуированного в 1941 г. в составе АН УССР. На его базе в июне 1942 г. созданы четыре института: экономики, украинского языка и литературы, истории и археологии Украины, народного творчества и искусства. Пребывание в Уфе украинских ученых способствовало активизации научной работы. С сентября 1941 по март 1943 гг. было организовано семь специальных экспедиций в различные районы Башкирии, в которых проживали украинские переселенцы. По результатам поездок к печати подготовлены новые труды, к сожалению, не все из них опубликованы. Основное внимание исследователей оказалось уделено изучению фольклора и языка переселенцев, однако, в отчетах содержалась также информация об устройстве украинских сел, приведены некоторые этнографические сведения о быте, жилище, одежде местного населения (М. Береговский, В. Ильин, А. Копыленко, П. Лысенко, М. Плисецкий и др.). Например, работа члена-корреспондента АН УССР П.М. Попова представляет собой первую попытку специального изучения истории переселения украинцев в Башкирию. В 1942–43 гг. изданы коллективные труды «Очерки истории Украинской ССР» и первый том учебника для вузов «История Украины». При активном участии академиков Б.Д. Грекова и В.И. Пичеты начато систематическое издание «Научных трудов» Института истории.

Третий этап открывается с середины 1970-х гг. Он связан с началом научно-исследовательской деятельности В.Я. Бабенко – историка, ведущего отечественного украиниста, ученика известного академика Р.Г. Кузеева. Богатая и недостаточно изученная источниковая база Башкортостана способствовала определению сферы интересов В.Я. Бабенко – этнография восточнославянских народов Южного Урала, украинских переселенцы края, разработка теоретических закономерностей поведения малых этнических групп в многонациональной среде. Активный сбор и анализ полевых материалов во второй половине 1970-х – первой половине 1980-х гг. привели к появлению ряда публикаций, посвященных этническим процессам, свадебным обрядам, семейным отношениям, быту, особенностям одежды, питания и жилища украинских переселенцев. За-

кономерным результатом этой работы стала подготовка в 1985 г. диссертации на тему «Материальная культура украинцев Башкирии (историко-этнографическое исследование)», защищенной в Институте этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая (Ленинград). В 1980-е гг. научно-педагогическая деятельность В.Я. Бабенко связана с Башкирским государственным педагогическим институтом, Институтом истории, языка и литературы Башкирского Филиала АН СССР.

Заметным событием в российской украинистике стала монография В.Я. Бабенко «Украинцы в Башкирской ССР: поведение малой этнической группы в полиэтничной среде» (1992 г.), в которой выделены основные этапы и ареалы расселения, дана комплексная этнокультурная характеристика, показаны традиционные формы хозяйства и новейшие тенденции развития, большая часть материалов введена в оборот впервые. Важными итогами длительных экспедиционных исследований, а также совместной работы В.Я. Бабенко и Ф.Г. Ахатовой явились сборники «Песенный фольклор украинских переселенцев в Башкирии» (1995) – первое научное издание по фольклору украинцев за пределами исторической родины, «Завези од мене поклон в Україну...» (1999), «Украинские песни в Башкортостане» (2000). Вместе с тем, в течение 1990–2000-х гг. начали набирать силу ассимиляционные процессы, приведшие к размыванию самосознания и утраты этноязыковых традиций частью украинского населения, поэтому одновременно с научной работой в 1990-е г. разворачивается деятельность по организации национально-культурного движения, создается Республиканский НКЦ «Кобзарь». Для образовательных целей большое значение получила подготовка коллективом авторов (В.И. Коваль, В.Ю. Крушинский и др.) учебного пособия «История Украинь» (1996), это был первый опыт издания подобного учебника за пределами украинского государства на территории всего бывшего СССР.

Начало четвертого этапа связано с созданием в 1998 г. в Уфе Филиала Московского государственного открытого педагогического университета им. М.А. Шолохова (сейчас – МГГУ), который возглавил В.Я. Бабенко. Образовательное учреждение стало признанным центром притяжения всех украинистических исследований в регионе, местом проведения конференций, семинаров, курсов повышения квалификации; установились прочные научные связи с коллегами из России, Украины и более чем 30 стран мира. На базе УФ МГГУ действует Научный центр украинистики – до недавнего времени единственный в России и странах СНГ. Издательский центр вуза способствовал выходу в свет научно-публицистических сборников об исторических аспектах и современном состоянии взаимоотношений Башкортостана и Украины, в рамках которых стали разрабатываться новые направления, например: национально-культурное движение (В.Б. Дорошенко), вклад АН УССР в развитие Башкирии, экономическое сотрудничество республик в годы войны (М.А. Ильгамов, М.А. Сайтова, Ю.В. Ергин, Г.В. Мухаметдинов), совре-

менные миграционные процессы (И.В. Голубченко), этнокультурные связи русских и украинцев (И.Г. Карпухин), башкирско-украинское сотрудничество в сфере культуры (В.М. Сорокина, А.В. Шарипова), декоративно-прикладное искусство (А.В. Колбина), история сел и деревень Башкирии (А.З. Асфандияров), экономические и культурно-исторические аспекты взаимодействия Башкортостана и Украины (Н.А. Баранова) и другие. Особое направление в рамках новейших исследований – изучение предметов украиноведческого цикла в образовательных учреждениях различного уровня. В девяти школах Башкирии, в том числе в четырех школах Уфы, изучается украинский язык.

Таким образом, украинистика в Уфе прошла в своем развитии ряд последовательных объективных этапов, к настоящему времени обеспечена солидным фондом источников и историографической базой, организационными структурами, собственными традициями, ее научные достижения признаны в России, Украине и других странах. Можно утверждать, что в лице уфимских украинистов отечественная историческая наука, этнография получили самобытную научную школу, которая продолжает свое формирование.

*А.П. Петрянкина* (Чувашский ГУ, Чебоксары)

### **Образовательная среда города Алатыря начала XX в.: общая характеристика\***

Исследовать историю возникновения и функционирования отдельных школ в истории России в отрыве от исторических условий и вне связи с другими учебными заведениями региона не совсем правильно. Успешно работающие школы появлялись там и тогда, где для этого имелась благоприятная среда. Открытие и развитие одной школы со временем содействовало возникновению других. Так постепенно складывалась образовательная среда. Понятие «образовательная среда» мы рассматриваем как совокупность государственных, общественных и частных учебных заведений в крае, сеть библиотек, типографий и книжных магазинов, содействующих распространению грамотности и образования, а также ресурсы учительства. Все названные факторы в дореволюционной России присутствовали в условиях городов, но не во всех. Из имевшихся на территории современной Чувашии XVIII – начала XX вв. городов наиболее развитым был город Алатырь.

---

\* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Роль городской образовательной среды в общественной жизни полиэтничного региона конца XVIII – начала XX вв. (на примере Чувашского края)», проект № 09-01-22106 а/В.

До начала XVIII в. Алатырь принадлежал к числу сторожевых городов но потом он теряет свое военное значение и становится административным и торговым пунктом, а с 1780 г. – уездным городом. На XIX в. приходится быстрый экономический и демографический рост города. По этническому составу население Алатыря было русским с небольшим количеством мордовского и единицами чувашского населения; по сословному составу преобладали купцы и мещане. Городская интеллигенция представляла собой довольно значительную социальную прослойку, в которой в количественном отношении преобладали лица, занятые в сфере местной администрации и представители духовенства.

Образовательная среда Алатыря складывалась постепенно, начиная с XVIII в. Самым первым учебным заведением в городе было открытое в 1787 г. на пожертвования городского общества малое народное училище. Испытывая серьезные изменения и преобразования, данная школа просуществовала до 1918 г. Под влиянием образовательной политики правительства и согласно школьным реформам в 1816 г. оно стало уездным училищем, в 1835 г. было преобразовано в уездное трехклассное училище, в 1907 г. было переведено в городское четырехклассное училище, а в 1913 г. стало высшим начальным училищем (Национальный архив Республики Татарстан (далее – НА РТ). Ф. 92. Оп. 2. Д. 7085. Л. 8).

Названное образовательное учреждение долгое время оставалось единственной в городе светской школой. Лишь в 1842 г. открылось волостное мужское начальное народное училище, а в 1850 г. – городское приходское начальное мужское училище в виде «приготовительного класса при уездном училище.

На середину XIX столетия приходится становление женского образования в Алатыре. В 1847 г. удельным ведомством было открыто женское училище для обучения «девиц удельных крестьян хозяйству, рукоделий и чтений». В 1860 г. в городе состоялось открытие женского училища 2-го разряда для девушек городского сословия, которое в 1870 г. было преобразовано в женскую прогимназию (Государственный исторический архив Чувашской Республики (далее – ГИА ЧР). Ф. 209. Оп. 1. Д. 7. Л. 34). В начале XX в. (1908 г.) на ее основе появляется Алатырская женская гимназия (Там же. Д. 18. Л. 25).

В 1876 г. в городе состоялось открытие мужской прогимназии. Однако ее судьба оказалась непростой. Если большинство прогимназий со временем преобразовывались в гимназии, то мужская прогимназия в Алатыре была закрыта министерством народного просвещения в 1897 г.

Следующим средним учебным заведением города является Алатырское реальное училище, открытие которого состоялось в 1902 г.; оно просуществовало до 1918 г. (ГИА ЧР. Ф. 209. Оп. 1. Д. 52. Л. 7).

Образовательные запросы горожан в конце XIX – начале XX вв. росли. Как уже было отмечено, это привело к появлению средних школ. В то же время большим спросом пользовались низшие начальные школы.

Отвечая этим потребностям, открывались приходские училища. Например, в 1881 г. среди остальных школ упоминается недавно открытое приходское женское училище (ГИА ЧР. Ф. 243. Оп. 1. Д. 59. Л. 4).

В числе делопроизводственных документов, сохранившихся в фондах Государственного исторического архива Чувашской Республики, имеется список начальных народных училищах Алатырского уезда Симбирской губернии за 1907/1908 уч.г. Здесь названы частное женское училище 2 разряда княгини Оболенской, городское четырехклассное училище, приходское двухклассное училище, мужское начальное училище, волостное училище, женское 1-е училище, женское 2-е училище, женское 3-е училище, посадское мужское училище, посадское женское училище (ГИА ЧР. Ф. 210. Оп. 1. Д. 20. Л. 11). К этим 10 школам необходимо добавить учебные заведения, которые осуществляли среднее образование. Это Алатырская женская гимназия и Алатырское реальное училище.

Такое большое количество школ для одного города – не совсем характерное явление не только для Чувашского края, но и для большинства регионов Российской империи начала XX в. Дальнейшему распространению дела народного просвещения способствовала открытая в 1866 г. с разрешения попечителя Казанского учебного округа при Алатырском уездном училище публичная библиотека и две типографии. На городскую образовательную среду оказывали влияние уровень развития промышленности и торговли, социальная структура городского населения, личности учителей и руководителей учебных заведений, а также активное участие в судьбе отдельных учебных заведений алатырского купечества.

*Н.А. Куликов* (Сочинский филиал РГСУ)

### **У истоков изучения истории управления в г. Сочи: Сергей Александрович Артюхов**

Современная регионалистика начинает занимать значимое место в трудах российских исследователей, т.к. постепенно приходит понимание, что всеобщая история основывается на локальных элементах. В школах и университетах вводятся научные дисциплины, рассматривающие локальную историю в контексте общероссийского и даже мирового развития. В Сочи такой дисциплиной является сочиневедение.

Видным историком-краеведом, фактически, первым сочиневедом является С.А. Артюхов. В своих трудах он обобщил множество разрозненных материалов о системе управления городом-курортом. Заслугой С.А. Артюхова является то, что он изложил историю города Сочи с 1917 и вплоть до 1990 гг. в едином сборнике очерков, рассмотрев многие изменения на основании отраслевого деления. В рамках данного доклада анализируются взгляды С.А. Артюхова на эволюцию органов государственной власти на курорте Сочи. Хронологическую последовательность

изложения материала определяет порядок опубликования сочинским краеведом своих трудов по годам.

Начиная с одной из первых своих статей, еще в 1980 г., С.А. Артюхова стала интересоваться тема организации системы управления городом в годы Великой Отечественной войны. Из публикаций Артюхова становится известно, что «по решению ГКО от 7 июля 1941 г. на Северном Кавказе решено на основе санаториев и пансионатов в районах Сочи, Кавминвод, Анапы, Геленджика и Туапсе развернуть 81960 госпитальных коек для лечения раненых воинов». Особо С.А. Артюхов отметил роль союзного центра в решении вопроса о подготовке медицинских кадров в годы ВОВ.

Другим направлением исследований С.А. Артюхова стала проблема формирования новых органов государственной власти в городе Сочи после установления власти большевиков и их деятельность в первое после-революционное десятилетие. Данной проблематикой С.А. Артюхов начал заниматься в 90-е гг., что связано с радикальными изменениями в России и необходимостью переосмысления предыдущего опыта государственного управления и даже его критикой. Важнейшие решения правительственных органов СССР и РСФСР в отношении Сочи, по мнению С.А. Артюхова, были приняты в 20–30-е гг. Он подмечает, что главным решением той поры стало закрепление за городом особого статуса: «Первым государственным законом, который определил на долгие годы статус Сочи как курорта, стал декрет СНК от 4 апреля 1919 года “О лечебных местностях общегосударственного значения”, по которому все курорты РСФСР объявлялись общегосударственной собственностью». «А в 1921 году государством были выделены четыре курортных района, в том числе и Кубано-Черноморский район (в него вошел Сочи). В конце 20-х государством принято решение о строительстве санаторно-курортных учреждений на Черноморском побережье».

С.А. Артюхов выявил в своих работах и основные проблемы города на пути реализации планов по превращению г. Сочи во всесоюзный курорт. Первой проблемой являлась малярия, так как «она препятствовала развитию сочинского курорта. Второй – недостаточная способность обеспечения города продуктами питания. Обе вскоре были сняты.

На реконструкцию курорта в 30-е гг. повлияла «стабилизировавшаяся экономическая обстановка в СССР. Все это вызвало необходимость развития сферы услуг и большого строительства. Переломной вехой в истории курорта С.А. Артюхов считает 17 января 1933 года, «когда ЦИК и СНК СССР вынесли постановление “О реконструкции Сочинского курорта”». Этот план превращал Сочи во всесоюзную здравницу, и на это выделялись огромные средства. К позитивным моментам в реализации данного плана С.А. Артюхов относит введение должности Уполномоченного ЦИК СССР в Сочинском районе по курортным вопросам, который сосредотачивал в своих руках партийные, государственные и контроль-

ные функции. Реконструкция Сочи по пути преобразования провинциального города во всесоюзную здравницу продолжалась 7 лет. Большую роль в восстановлении курорта после войны, по мнению Артюхова, сыграло повторное учреждение в 1948 г. должности Уполномоченного Совета Министров СССР по Сочи-Мацестинскому курорту. После упразднения поста в 1953 г., все функции вновь перешли к Сочинскому горсовету. 10 марта 1960 г. Постановлением Совмина санатории города были переданы в ведение ВЦСПС, а по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 февраля 1960 г. Сочи приобрели современные размеры.

Не обошел краевед в рассмотрении и самое значительное решение центральных властей за послевоенную эпоху – Генеральный план развития города-курорта Сочи, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 31 августа 1967 г. Данный план развития являлся вторым и предусматривал развитие города с 1967 по 1992 гг. Полностью план выполнить не удалось.

Таким образом, С.А. Артюхов отразил в своих трудах историю становления и развития г. Сочи в контексте системы политического менеджмента и общероссийских исследований. Социальная значимость его исследований возрастает, особенно в процессе подготовки к Олимпиаде-2014, когда опыт предыдущих поколений становится незаменим.

*Е.А. Чиглицев* (Казанский ГУ)

### **Рецепция античности как культурно-исторический концепт**

Обращение к античному наследию с целью включить его в качестве неотъемлемой части в культуру той или иной последующей эпохи стало обязательным элементом в истории европейской цивилизации. Однако научная рефлексия этого процесса оформилась только в последней трети XX века, когда появились попытки обобщить многочисленный накопленный филологами-классиками и искусствоведами эмпирический материал. Теоретические основы для новых построений предложила немецкая филологическая школа в Констанце во главе с Х.Р. Яуссом, который выдвинул концепцию взаимодействия читателя и текста, получившую название «рецептивная эстетика». Наиболее перспективным в этой теории стало положение о необходимости учитывать в качестве важнейшего фактора рецепции «социально-объективную оболочку» познающего субъекта, т.е. исторические или социокультурные условия рецепции.

Эта идея была усвоена и развита рядом англоязычных (британских, американских, австралийских) филологов-классиков, обратившихся к изучению рецепции классического наследия Греции и Рима. Расширенное, «плюралистическое» представление о реципиенте за счет исследования массовой культуры позволило вывести изучение рецепции античности за рамки классической филологии и истории искусств; а привлечение



структуралистских и постструктуралистских подходов, в частности, идеи интертекстуальности Ю. Кристевой и Ж. Женета, привели к господству в изучении рецепции античности теории межкультурного диалога прошлого и современности, воспринимаемого как интертекстуальное взаимодействие. В свою очередь, это позволило и расширенно толковать античный «текст», включая в него не только художественное и письменное наследие, но и все многообразие **исторических или социокультурных проявлений эпохи**. Именно такой подход и был реализован в данной книге.

Результатом рецепции античности становятся социальные представления, которые включают античные процессы, явления и персонажи в социокультурную практику нового и новейшего времени. В условиях массовой коммуникации любое индивидуальное обращение к античности социально обусловлено (есть потребность индивида, группы, общества в целом) и обязательно имеет социальные последствия в виде распространения этих представлений в обществе.

Хотя статистически определить процент интересующихся античностью в те или иные периоды нового и новейшего времени не представляется возможным, социокультурные условия конца XIX, всего XX и начала XXI веков позволяют предположить, что и индивидуальное творчество в сфере академической культуры, и производство медийной продукции в сфере культуры массовой имеют своей целью и результатом доведение представлений об античности до самого широкого круга потребителей, а значит – формирование античного субстрата социального сознания.

На основе анализа жизни и творчества ряда выдающихся деятелей культуры конца XIX – первой половины XX вв. **цели и механизмы** рецепции античного наследия определяются следующим образом.

Рецепция как **реализация социально значимых проектов** видна на примере Г. Шлимана и П. де Кубертена. Самый сложный вариант рецепции демонстрирует нам Генрих Шлиман. Механизм рецепции у него выглядит как *восприятие античного мифологического архетипа* (в наименее архаической части греческой мифологии – героическом мифе о культурном герое) и *конструирование на этой основе собственной публичной биографии*. Механизм рецепции античного наследия, использованный Пьером де Кубертенем, можно обозначить так: попытка *модернизации античности и архаизации современности*.

Рецепция как **общественно-политическая практика**. Самый «простой» вариант рецепции античного материала принадлежит К. Кавафису, создавшему настоящую *поэтическую концепцию эллинской истории в рамках идеологии греческого национализма*. А для русского поэта А. Блока характерна *политическая актуализация античности на основе аналогий*.

**Возможность художественного самовыражения** – наиболее распространенная цель рецепции античности. Однако наряду с традиционными вариантами рецепции (реплика или реминисценция), которые неоднократно рассматривались в историографии, существуют и достаточно

«экзотические» примеры. Рецепцию античного наследия в творчестве А. Дункан можно назвать *аллегорической реконструкцией* античной пластики в современном танце. Русский композитор Игорь Стравинский, обратился к осознанному *конструированию* собственных музыкальных представлений об античности.

XX век с постоянно идущим активнейшим омассовлением культуры в условиях стремительно развивающейся системы массовой коммуникации создает благоприятные социокультурные условия для рецепции античного наследия в массовом сознании. **Образы античных исторических персонажей по способу их интерпретации и репрезентации** в современной культуре могут быть классифицированы как *образ-знак, образ-символ и образ-судьба*.

**Образ-знак.** Уже в античности эти образы обретают зачастую одну доминирующую черту, которая, будучи в течение веков вырвана из социальной и культурной среды своей эпохи, превращает реального исторического персонажа именно в знак, одинаково декодируемый вне зависимости от конкретного социокультурного контекста, хотя метаморфозы сменя «плюса» на «минус» или «минуса» на «плюс» в XX в. наблюдаются постоянно. В этом отношении показательны такие фигуры, как Меценат или Герострат, имена которых ставшие нарицательными еще в античности, были адаптированы европейской цивилизацией последующих веков. Между тем, именно перспективный анализ от античности к нашему времени может показать тот механизм рецепции, который использовался в отношении таких явлений как «меценатство» и «комплекс Герострата».

**Образ-символ** формируется еще в античности в тесной связи с социокультурным контекстом своего времени. В последующие века образ всегда сохраняет этот контекст в снятом виде, при этом подвергаясь корректировке в соответствии с социокультурными запросами реципиента. И тогда романтический образ Спартака привлекает внимание людей диаметрально противоположных политических и философских взглядов, выступая и в политических практиках, и в художественной сфере в качестве символа свободы и мужественной борьбы за эту свободу; а Клеопатра становится символом женщины во всем многообразии ее проявлений и привлекает внимание и социалистов, и сторонников психоанализа, и последовательниц феминистских взглядов, трактующих этот символ в соответствии с субъективными установками. Особенно ярко субъективные варианты рецепции этих персонажей видны в массовой культуре конца XX и начала XXI веков.

**Образ-судьба.** Благодаря хорошей источниковой базе эти персонажи при любых интерпретациях обязательно сохраняют античный социокультурный контекст, что приводит зачастую к попыткам исключительно биографической трактовки этих образов в последующие века, более или менее подробного описания «деяний» героя. Движущим мотивом для обращения к этим образам является уверенность интерпретатора в анало-

гичности социально-культурных процессов прошлого и настоящего. Таково восприятие в современном массовом сознании и культуре образов Александра Македонского (судьба лучшего полководца в мировой истории, попытавшегося создать новую систему взаимоотношений Запада и Востока) и Юлия Цезаря (судьба выдающегося правителя, но позволившего себе стать правителем тоталитарного типа). Эти персонажи призваны дать политический и этический урок современности.

Обращение к исторической или социокультурной рецепции античности позволяет исторической науке активно присутствовать на широком междисциплинарном поле современного гуманитарного знания и выполнять при этом утраченную некогда интегрирующую роль в социогуманитарных исследованиях.

*Т.П. Евсеенко* (Удмуртский ГУ, Ижевск)

### **Римская республика как сюзеренное государство**

1. Проблема территориальной организации государства долгое время не вызывала особого интереса в отечественной науке. Этому способствовало утверждение в 30–40-х годах XX столетия в советском государствоведении однозначно трактуемого понятия формы государственного устройства. Такое универсальное понятие вполне удовлетворяло большинство исследователей, изучавших стабильные государственные организмы. Однако конец XX столетия привел к серьёзному пересмотру сложившихся взглядов и концепций. В настоящее время изучение территориальной организации государства становится одним из важнейших направлений государствоведения.

2. Познать закономерности и основные направления эволюции формы государственного устройства проще всего на конкретных исторических примерах. В качестве такового особенно интересна история Римского государства, единственного в древности «завершившего» трансформацию полисной республики в империю, прошедшего путь от крестьянской общины к территориальной государственности современного типа.

3. Держава, созданная римлянами, включала множество государств как территориального, так и общинного типа, обладавших различным правовым статусом. Помимо официально подвластных Риму общин Италии и провинций уже тогда существовали государства и отдельные территории, находившиеся в различных степенях зависимости от него, причём, характер этой зависимости не всегда оформлялся одинаково.

4. К началу II века до н.э. римская *civitas* охватывала лишь 1/3 территории Италии. Остальная часть Апеннинского полуострова образовывала сложный конгломерат разностатусных общин, связанных с Римом двусторонними договорами (традиционно именуемый в литературе «Римско-Италийской федерацией», что по сути своей является искажени-

ем его подлинной природы). Покорённые страны–провинции также не представляли собой единого целого, являясь подобным же конгломератом общин, число которых после римского завоевания резко увеличилось. Римляне искусственно дробили ранее сложившиеся здесь союзы и объединения, как и отдельные крупные общины, желая ослабить этим возможное сопротивление своей власти. Наконец, существовали т.н. союзные государства, состоявшие с Римом в разного рода договорных отношениях, причем договоры с такими государствами могли быть как равноправными, так и неравноправными.

5. Фактически подобный договор представлял собой точную копию *foedus iniquum*, сложившегося ещё в ходе завоевания римлянами Италии. В число обычных прав *civitates foederatae* входили полная судебная автономия, включавшая юрисдикцию местных судов над проживающими в союзной общине римскими гражданами, налоговый иммунитет, право собирать в свою пользу торговые пошлины, право принимать римских изгнанников, независимость в финансовых вопросах. В договорах такого рода, как правило, фигурировало обязательство римлян без крайней необходимости не вводить свои войска на территорию союзной общины. Последняя же обязалась поставлять в римскую армию (или флот) определённый контингент своих военных сил и не вести самостоятельной внешней политики.

6. В конце концов, союзная община постепенно утрачивала свой суверенитет и поглощалась Римом. Однако подобное развитие событий не было предопределено изначально, поскольку различные фракции римской правящей верхушки первоначально по-разному представляли судьбу побеждённых противников. Ещё А.И. Тюменев, а вслед за ним А.С. Шофман усматривали на рубеже III–II вв. до н.э. борьбу двух концепций завоевательной политики Рима, каждая из которых выдвигалась и отстаивалась влиятельной политической группировкой внутри правящего класса.

7. А.И. Тюменев обнаруживал стремление римского нобилитета сохранить определённую самостоятельность за подчинёнными государствами, объясняя это его стремлением монополизировать богатства завоеванных стран в своих руках, устраняя конкурентов – всадников, значение которых росло по мере развития провинциальной системы. Поэтому провинциальному управлению, нобилитарная аристократия предпочитала систему внешне ослабленных, но автономных государств под протекторатом Рима. Таким образом, на область государственной политики распространялись отношения патроната и клиентелы, существовавшие в Риме издревле. Этим для правящей группы создавалось положение рантье при обеспеченном доходе со стороны зависимых государств.

8. Такие связи недёшево обходились «клиентам» – союзным племенам и государствам. Союзные государства не платили Риму прямых налогов, но за сохранение своей «свободы» принуждены были делать т.н. «добровольные приношения» лично римским полководцам. Зато государ-

ства-клиенты избегали непосредственного вмешательства римского правительства в свои внутренние дела (разумеется, кроме случаев, непосредственно задевавших «кровные» интересы господствующего государства). Помимо того, денежные выплаты отдельным аристократическим «патронам» оказывались для подчинённых государств более приемлемым вариантом, чем хозяйничанье откупных коллегий римских всадников, разорявших целые страны и порабоощавших их население.

9. А.С. Шофман противопоставлял политике нобилитета, устремления всадников (т.н. «новых людей»), стремящихся к превращению побеждённых государств в провинции. По его мнению, такое их преобразование позволяло указанным кругам эксплуатировать провинции напрямую, не делясь доходами с традиционной аристократией. Лидером этой второй группировки А.С. Шофман называет Марка Порция Катона (Старшего), игнорируя его нападки на публиканов и их грабежи в провинциях. Между тем представляется, что это противопоставление является типичным упрощением ситуации. Вероятнее всего борьба шла между несколькими социально однородными фракциями правящей верхушки Рима, выбиравших методы наиболее эффективной эксплуатации покорённых народов. Если принять эту точку зрения, то Катон Старший превращается в защитника «справедливости» (т.е. равного доступа к богатствам провинций для всех фракций господствующего класса), и, как представляется, именно в этом кроются истоки его популярности.

10. Напрашивается вопрос: как охарактеризовать форму государственного устройства, сложившуюся в Римской державе эпохи «золотого века Римской республики»? Представляется, что единственно возможным ответом может быть в этих условиях – «сюзеренное государство».

11. Это понятие выработано классическим государствоведением рубежа XIX–XX веков, и характеризовалось следующим образом: «Сюзеренное государство осуществляет свое господство над подчинёнными ему государствами, которые, в пределах установленных господствующим государством правовых границ, свободно организуются, обладают широкой самостоятельностью во внутренних делах, но вовне подвергаются, в силу их зависимости, значительным ограничениям и обязаны ставить свои войска сюзеренному государству или, по крайней мере, нести в его пользу определённые экономические повинности (платёж дани)» (Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб., 1903. С. 501-502).

12. В сюзеренном государстве отмечается сочетание, черт как межгосударственного союза, так и единого союзного государства. Эта двойственность его природы побуждала некоторых учёных характеризовать подобное образование в качестве конфедерации (Напр.: Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. I. СПб., 1908. С. 151-152). Признавая основательность этой точки зрения, необходимо всё-таки оговорить отсутствие тождества указанных понятий. Откровенная неравноправность партнёров в государстве государств, открытое подчинение интересов го-

сударств-вассалов интересам сюзерена мешают поставить между ними знак равенства. Можно предположить, что сюзеренное государство является частным случаем конфедерации (её разновидностью), как более широкого явления государственно-правовой действительности (к конфедерации могут относиться объединения, построенные как на неравноправной, так и на равноправной основе).

*С.С. Ходячих* (Сыктывкарский ГУ)

**Нормандское завоевание в историко-правовом дискурсе  
В.А. Маклакова: междисциплинарный синтез  
в социогуманитарном измерении**

Изучение Нормандского завоевания Англии в дореволюционной отечественной историографии занимает столь же скромное место, как и в других научных школах континентальной Европы. «Завоевание Англии норманнами» В.А. Маклакова – один из немногих специальных трудов, посвященных проблемам истории средневековой Англии.

Известный российский юрист, адвокат и государственный деятель Василий Алексеевич Маклаков (1869–1957) начинал свою профессиональную карьеру как историк. Ученик профессора П.Г. Виноградова, слушатель лекций В.О. Ключевского, а также автор работы «Избрание жребием должностных лиц в Афинском государстве», опубликованной в «Ученых записках» Московского университета, он окончил историко-филологический факультет Московского университета в 1894 г., однако, не стал заниматься историческими изысканиями, отдав предпочтение науке юридической. В 1896 г. он экстерном окончил юридический факультет Московского университета, сдав экзамены после трехмесячной подготовки. Тема выпускного сочинения – «Влияние зависимого держания земли на гражданскую правоспособность на исходе Каролингского периода» – свидетельствует об органичном сочетании у В.А. Маклакова исторического знания с юридической каузальностью. Таким образом, в исторических исследованиях В.А. Маклакова уместно говорить о междисциплинарном синтезе: виртуозно используя методы гуманитарных наук, Маклаков обогатил пространство социогуманитарного знания полиструктурированным дискурсом: историко-юридическая дихотомия будет прослеживается на поприще всей его интеллектуальной деятельности.

Еще на студенческой скамье Маклаков подготовил раздел о Нормандском завоевании Англии в «Книгу для чтения по истории Средних веков» под редакцией П.Г. Виноградова. Позже этот раздел вырос в самостоятельное исследование «Завоевание Англии норманнами», опубликованное в 1898 г. в Москве.

Рассуждая в своей работе о правовом аспекте Нормандского завоевания, Маклаков отмечает, что санкционирование военной кампании

Вильгельма Завоевателя папой Александром II – «неправое дело», французские феодалы, в его понимании, – шайка авантюристов, а сам Вильгельм – грабитель и лицемер. Рассматривая положение *английской* церкви после 1066 г., автор приходит к выводу: хоть «церковь стала независимым от государства, самостоятельным телом», политика архиепископа Кентерберийского Ланфранка носила двойственный и противоречивый характер: с одной стороны, стремление освободить церковь «из-под власти светского собрания», а с другой – отстаивание «самостоятельности своей местной церкви от Рима». В результате «пока жив был Ланфранк – мир между государством и церковью не нарушался»; после его смерти церковь, «предоставленная своим собственным силам, не смогла отстоять независимость» и оказалась в подчиненном светской власти положении. Таким образом, в политическом плане Ланфранк потерпел поражение.

Важное место в политико-правовой системе донормандской Англии В.А. Маклаков отводит уитенагемоту – совету знати в англосаксонском королевстве, основные функции которого заключались в подтверждении прав короля на престол, решении вопросов войны и мира. После битвы при Гастингсе представители местной англосаксонской знати в угоду традиции собрали в Лондоне уитенагемот с целью избрания нового короля. Стремясь показать политический континуитет между прежней системой управления и новой, привнесенной Вильгельмом Завоевателем с континента, В.А. Маклаков называет собрание баронов 1086 г. для принесения знаменитой Солсберийской клятвы не иначе как *уитенагемотом*, что, на наш взгляд, не совсем справедливо. Безусловно, совет аристократии продолжал выполнять свою главную задачу, однако, введение Вильгельмом клятвы верности непосредственно королю, помимо обычной присяги вассалов своему сюзерену, на совместном присутствии баронов в Солсбери кажется не более чем *ассамблей*. Следует отметить, что необходимость в институте уитенагемота, который в полной мере можно считать предтечей общего (англосаксонского) права, не отпала с момента прихода к власти первого нормандского короля: он дал импульс для поступательного развития других английских политических институтов.

В выстроенном В.А. Маклаковым дискурсе значительное место уделено личностям Гарольда и Вильгельма: на всем протяжении повествования они выступают как антиподы. Рассуждая о категории *legalitas*, Маклаков приходит к осознанию амбивалентности той ситуации, которая сложилась в Англии к 1066 г.: с одной стороны, *законно* избранный уитенагемотом новоиспеченный король Гарольд, защищающий свою страну от нормандского узурпатора, с другой – Вильгельм, явившийся на острова «как законный правитель», борющийся против клятвопреступника с целью овладения английской короной и в то же время отдавший приказ «жечь, грабить и разорять ту самую страну [Англию]», ради которой он приехал проливать кровь. Убеденность В.А. Маклакова в легитимности пребывания Гарольда в качестве короля позволяет сделать ему следую-

щий вывод: «Корона Англии зависела от воли народа, и была ему вручена». За Вильгельмом автор «Завоевания Англии норманнами» признает такие заслуги, как установление диалога в отношениях народа и короля, институциональное укрепление власти последнего, а также лавирование между «враждебными лагерями» и выполнение роли арбитра во внутриполитических делах.

Оценивая значение и последствия Нормандского завоевания, В.А. Маклаков акцентирует свое внимание на его бинарности: сочетание *деструктивности* (жестокость в методах его осуществления) и *полезности* (привнесение феодализма) позволяет сделать вывод о том, что события 1066 г. – это историческая закономерность, которая позволила Англии в кратчайшие сроки догнать по уровню развития континентальную Европу, а впоследствии и вырваться по уровню развития далеко вперед.

Таким образом, правовая компонента в историческом дискурсе В.А. Маклакова занимает значительное место. Рассуждения о Нормандском завоевании с историко-политико-правовых позиций позволяют вести речь о междисциплинарном синтезе в его исторических исследованиях. Интерес к персональной и правовой истории, изучение английской политической системы через репрезентацию политических институтов, их органичное сочетание свидетельствуют о методологическом плюрализме штудий В.А. Маклакова, которые в силу своей специфики носили интеллектуальную направленность.

*Ю.Г. Мягков* (Казанский ГТУ)

### **Концепт византизма в исторической и философской мысли России XIX века: особенности формирования**

Во второй половине XIX – начале XX вв. проблема византизма представлялась контрапунктом российской культуры истории. Её постановка восходит к тому времени, когда, как писал в 1844 г. акад. А.А. Куник, «Византия пребывала загадкой в глазах образованного мира вследствие недостаточного знакомства с ее прошлым». Стоявший у истоков науки о всеобщей истории в России Т.Н. Грановский подчеркивал, что разработка истории Византии составляет, по сути, национальный долг российской науки: «Нужно ли говорить, – вопрошал историк в 1850 г., – о важности Византийской истории для нас, русских? Мы приняли от Царьграда лучшую часть народного достояния нашего, т.е. религиозного верования и начатки образования. Восточная империя ввела молодую Русь в среду христианских народов... На нас лежит некоторого рода обязанность оценить явление, которому мы так многим обязаны» (Грановский Т.Н. Собр. соч. М., 1900. С. 378-379). И, действительно, русские историки добились впечатляющих результатов в изучении истории Византии, но это произошло *только* в 70–90-е годы XIX в. и было связано с деятельностью



В.Г. Васильевского (1838–1899), Ф.И. Успенского (1845–1928), Ю.А. Кулаковского (1855–1919), П.В. Безобразова (1859–1918) и их учеников. К 1917 г. византиноведение в России выделилось в самостоятельную историческую дисциплину, институционализировавшуюся благодаря созданию исследовательских учреждений, подготовке историков-профессионалов, обретению периодических изданий.

Но своеобразием развития византиноведения как отрасли историознания в России стало то, что произошло известное размежевание между теми, кто занимался собственно изучением византийской истории, историками, и теми, кто обратил свои взоры к Византии в связи с задачей философского осмысления «встречи» с ней Руси-России. Потому и само понятие «византинизм» формируется не в связи с развитием исторической науки, а в процессе историософского осмысления феномена Византийской цивилизации. Особая роль здесь принадлежала П.Я. Чаадаеву, А.С. Хомякову, Вл.С. Соловьеву, К.Н. Леонтьеву и Л.А. Тихомирову. Названные мыслители – представители разных поколений российского историософского знания. В их творчестве мы наблюдаем специальные усилия к углублению понимания роли и места «византизма» в русской истории. Более того, сама означенная тенденция оказалась имманентно связана с развитием **консервативной традиции** в России. Именно в этой интеллектуальной среде вырабатываются **положительные** воззрения на Византию, византийскую культуру.

Либеральная мысль России изначально избирает иной – **отрицательный** – образ Византии, восходящий к традициям эпохи Просвещения. Потому порицание «византизма» сделалось одним из общих мест «передовой», западнически ориентированной либеральной мысли. В 1901 г. писатель консервативных взглядов Н.И. Черняев отмечал, что в России «...до последнего времени слово "византизм" и "византийщина" одним своим звуком приводят нас в содрогание» (Черняев Н.И. Мистика, идеалы и поэзия русского Самодержавия. М., 1998. С. 163).

Начиная с П.Я. Чаадаева, отношение к «византизму» само по себе стало критерием размежевания в России политических и идейных лагерей и течений. П.Я. Чаадаев, казалось, с присущим ему негативным отношением к Византии и ее наследию, вписывался в круг либерально-ориентированных мыслителей. Характерны споры о месте и роли П.Я. Чаадаева в развитии общественной мысли России, но, очевидно, что дать однозначный ответ на вопрос может ли быть Чаадаев, говоря словами М.О. Гершензона, «зачислен в синодик русского либерализма», и был ли он «убежденным *западником* и *прогрессистом*», дать далеко не просто. В условиях теоретического плюрализма открылись возможности переосмысления концепций П.Я. Чаадаева и Вл.С. Соловьева в контексте истории российского консерватизма. Так, П.Я. Чаадаев оказывается выразителем **антизападнического, антилибералистского** синдрома в русской общественной мысли: ведь мыслитель предложил концепцию, ут-

верждавшую принципиальную инаковость России и в отношении Европы, и всего остального мира на всех этапах ее развития. В том числе и относительно Византии. Провиденциализм, христианский мессианизм выступают также не как либеральные ориентиры и ценности. Потому можно предположить, что «византинизм» выступает как историографический факт, позволяющий рассматривать творчество П.Я. Чаадаева в лоне консервативной мысли.

В эту традицию вписывается и Вл.С. Соловьев, хотя пути русского социума к прогрессу он видит через преодоление византинизма. Н.А. Нарочницкая отметила тот факт, что «многие поборники “вхождения в цивилизованное сообщество” ссылаются на эту (Соловьева – Ю.М.) крупнейшую фигуру в русской мысли как на “авторитетнейшего оппонента славянофилам”, представляя его как безупречного западника». Но теоретик «свободной теократии» создавал модели, совсем не отвечающие принципам либерализма. Поэтому, заключает Н.А. Нарочницкая, «его нельзя назвать западником в общепринятом смысле – поборником просвещения, представительных учреждений и позитивного права» (Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. М, 2004. С. 42). Вл.С. Соловьева с его противопоставлением «вселенского» и «национального» органичнее смотрится среди сторонников консервативной мысли, хотя и его творчество, и П.Я. Чаадаева не может быть редуцировано, сведено к консерватизму.

Проблема оценки византинизма, актуализированная П.Я. Чаадаевым в «Философических письмах», получила обоснование в ходе борьбы «западников» и «славянофилов». В свою очередь, она органичным образом вписалась в круг тем и проблем, которые принято объединять понятием «русская идея» и которые в советское время практически не изучались, что было связано с особенностями методологических подходов и идеологических обстоятельств. Не изучался и тот идейный комплекс, который был мобилизован представителями различных политических течений для аргументации выдвигаемых ими своих программ. В этом комплексе занимало особое место обращение российских мыслителей к византийскому наследию, к наследию той цивилизации, в кругу которой произошло становление России и ее, по представлениям консервативной ветви общественной мысли, духовного стержня.

Иными словами, в каждую эпоху живут представления о византизме, но особо они были развиты и востребованы в эпохи реформ. Истолкования образа «византинизма» как особого социополитического и культурного начала, оказавшего *негативное* влияние на русское христианское общество, заложенные П.Я. Чаадаевым и особо полно развернутые В.С. Соловьевым, были в действительности использованы представителями реформистских ориентаций в идейно-политических движениях России. Проблема модернизации страны в этом смысле выступала как задача преодоления византинизма в ее культуре и общественной жизни. Либе-

ральные литераторы и философствующие публицисты стремились утвердить идею русского европеизма не только как наиболее предпочтительную, но и как, по крайней мере, одну из самых значимых в историческом движении российского сообщества. В результате идеи славянофилов и К.Н. Леонтьева относительно византизма оказались маргинальными, что в значительной степени было следствием выступления В.С. Соловьева, высказывавшего мысль-пожелание в адрес российского общества учиться «судьбою павшей Византии».

*Ю.Я. Вин, Д.Е. Кондратьев*  
(Институт всеобщей истории РАН)

### **Инновационные принципы анализа лексики и текстов византийского права: когнитивный и информационный подход\***

Построение Базы данных «Византийское право», нацеленной на ее использование в процессе изучения правовых монументов и аутентичных понятий и терминов, неотъемлемо сопряжено с потребностями систематизации отдельных частей и разделов законодательных памятников и организации современной информационно-поисковой системы. На первый взгляд, решению связанных с этим задач присущ сугубо прикладной характер. В действительности это невозможно без теоретико-методологических исследований и научного обоснования анализа лексики и текстов византийского права на принципах информационного и когнитивного подходов. Именно теоретические изыскания оправдывают внедрение в названной сфере инновационных технологий.

Одним из главных аспектов исследований в указанном направлении является разработка аналитических приложений Системы управления Базой данных и создание Информационно-аналитического комплекса «Византийское право и акты». К настоящему времени актуализированы не только различные виды информационного поиска, включая поиск «по нескольким словам» независимо от их дистрибуции, транскрипции и с учетом супплетивизма. Одновременно проводится внедрение специального (отраслевого) поиска, опирающегося на понятийно-терминологическую систему византийского права и присущую ей синтагматику. По сути, речь идет о разработке принципов построения банка данных и тезауруса понятий и терминов византийского права. Реализации этого замысла осуществляется посредством практического использования подготовительных материалов для названного банка данных в Блоке понятий и терминов. Систематизация терминов производится путем установления

---

\* Исследование выполняется при финансовой поддержке РГНФ (Проект № 09-01-0048а) и РФФИ (Проект № 09-06-00106а).

синтаксических связей основных лексических единиц, определяющих состав информационно-поискового массива Блока понятий и терминов.

В центре внимания разработчиков Информационно-аналитического комплекса находится апробация Модуля определения информационной близости (МОИБ), предназначение которого обусловлено задачей определения информационной близости исторических источников посредством сравнения их семантического поля с помощью статистического анализа понятий и терминов. Опуская подробности описания названного Модуля, поскольку они уже освещены в печати, хотелось бы обратить внимание на основные принципы анализа текстов путем сопоставления их фрагментов, подобных друг другу в информационном плане. Сравнение опосредует Блок «Структура понятий», точнее говоря, представленные там две версии понятийно-терминологической иерархии, носящей название «Полиглоссия». С ее помощью претворяется принцип сравнения двух элементов по третьему («tertium comparationis»). Версия «Семантика» отображает грамматическую дистрибуцию лексики (имена существительные и субстантивации – имена прилагательные – глаголы и так далее); версия «Когниция» построена на проблемной классификации лексики. «Семантический» вариант «Полиглоссии» обеспечивает сопоставление фрагментов источников, исходя из близости их общего смысла, когда все синонимичные лексические единицы рассматриваются без дифференциации их понятийного содержания как однозначные семантические элементы. «Когнитивная» версия «Полиглоссии» в рамках разрабатываемой информационной технологии делает возможным дифференцированный анализ лексических единиц, лежащих в основании понятийно-терминологической иерархии. Она предназначена для сравнения текстов на латинском, греческом и славянском языках благодаря созданию групп эквивалентной по значению лексики. Основные уровни иерархии составлены сообразно степени обобщения семантики лексики текстов. Высший уровень занимают систематизированное по Предметным полям Ключевые понятия (или Концепты); входящие в Ключевое понятие Ключевые слова составляют второй уровень иерархии. Собственно говоря, аккумулярованные в ее составе лексика естественных языков структурируется в виде лежащих в основе «Полиглоссии» лексических фреймов, каждый из которых, соответствуя уровню «лексем», включает словоформы с определенным лексическим значением. Соответственно Ключевое слово олицетворяет собой свойственное лексемам определенное номинативное значение. В зависимости от него одинаковым по своей грамматической форме Ключевым словам с относящимися к ним словоформами, наделенным в том или ином естественном языке различными лексическими значениями, отводятся разные места в репрезентируемой иерархии.

Итак, МОИБ обеспечивает сравнения в четырех автоматизированных режимах: «Семантика» (обобщающий) и «Когниция» (дифференцированный); частота вхождения в текст лексем устанавливается относи-

тельно «ключевого понятия» (высший, общий уровень) и в режиме «лексема» – «ключевое слово» (низший, уровень детализации). Предусмотрена техническая возможность различного вида сравнений – полных фрагментов текстов, частичных фрагментов и сравнения текстов по отдельным Ключевым понятиям. Это позволяет уделить внимание социокультурной значимости проделываемого сопоставления. Определяя информационную близость сравниваемых текстов в автоматизированном режиме, исследователь руководствуется задачей установить по возможности адекватные логико-грамматические и семантические атрибуты каждого из входящих в высказывание, независимо от естественного языка, понятия или термина. Выбирая альтернативы, исследователь «назначает» Ключевые понятия и Ключевые слова согласно эквивалентным сочетаниям лексем с учетом их логико-грамматической индексации, которая репрезентируется как статистика вхождения в текст лексем.

Особую роль выполняет функция Когнитивного картирования (*the cognition mapping*). Здесь надо пояснить, что в современной науке когнитивное картирование получило широкое признание, начиная от экологии и медицины, в частности – в исследованиях мозга, и завершая прикладной лингвистикой. Благодаря названной функции МОИБ предметом сравнительного анализа становятся не только численные его результаты, но и понятийно-терминологическая атрибуция лексики. Не касаясь непосредственно проблемы многозначности понятий, необходимо отметить специально, что когнитивное картирование, будучи использовано для отображения лексико-семантических результатов сравнительного анализа текстов, служит наилучшим индикатором практически их любых расхождений. Названная функция позволяет акцентировать лексические различия проделанных текстологических сопоставлений, которые предопределяют понятийно-категориальную систему анализируемого высказывания.

Дальнейшие процедуры машинного анализа предусматривают проекцию приведенных сведений на информационный массив БПТ для уточнения грамматических и семантических параметров изучаемых понятий. Благодаря тому, в частности, аналитический инструментарий исследователя дополнит перечень выявленных контекстных словосочетаний и синтагм с учетом содержащихся в названном Блоке аналогичных сведений византийских актов. На этой основе планируется создание Блока когнитивного картирования, призванного осуществлять вторичный анализ эмпирических лексико-текстологических сопоставлений. Результатом станет построение так называемых Когнитивных карт (*the cognition maps*), аккумулирующих сведения о дистрибуции и семантике изучаемой лексики соответственно ее понятийно-терминологическому содержанию, концептуализации и категоризации. Когнитивные карты явятся посылкой сопоставления современных научных представлений и восприятия значений слова (концептирования – *the conceptive apprehension*) в историческом прошлом.

Тем самым построение когнитивных карт обозначает следующий шаг к разработке экспертной системы. Системный характер машинного анализа, несомненно, обеспечит исследователя объективными показателями, столь необходимыми для достоверной оценки особенностей когнитивного процесса прошлого. Таким образом, предлагаемая информационная технология нацелена на углубление когнитивного анализа лексики и текстов византийского права.

*Г.В. Бакус* (Тверской ГУ)

**«Суеверие» (*superstitio*) и «злонамеренное колдовство» (*maleficium*)  
как понятия немецкой демонологии конца XV–XVI столетий**

Предметом настоящего доклада являются особенности категориального аппарата ранней немецкой демонологии в контексте интеллектуальной культуры позднего Средневековья – раннего Нового времени на примере разработки понятий *superstitio* (суеверие) и *maleficium* (злонамеренное колдовство) в трактате Якова Шпренгера и Генриха Крамера (Инститориса) «Молот ведьм». Сочетание данных понятий определило своеобразие авторской концепции *Malleus Maleficarum*, поскольку предполагало разработку узкой и весьма специфической проблемы под углом общехристианской проблематики. Исследовательский интерес для историка вызывает не столько даже оригинальность заложенных в трактате идей, сколько особенности ситуации, сложившейся вокруг него в XVI в. Здесь мы сталкиваемся с определённым парадоксом: несмотря на Реформацию во второй половине столетия «Молот ведьм» переживает новую волну популярности, которая распространялась даже на протестантов. На данный момент остаётся открытым вопрос: насколько адекватно воспринималась читательской аудиторией концепция данного трактата? Природа этой популярности представляется ещё более интригующей, если допустить, что основывалась она не на признании заложенной в нём концепции, а на каких-то иных, неизвестных нам, факторах и обстоятельствах.

В «Молоте ведьм» присутствует лаконичная формулировка: «Суеверие есть религия, отправляемая сверх [дозволенного] способа, то есть, религия, практикуемая дурным (букв. – злым) и ущербным способом либо же при соответствующих тому обстоятельствах». В данном случае сформулирована некая общехристианская истина, которая не вызвала принципиальных возражений у христианских мыслителей, вне зависимости от конфессиональной принадлежности. Как пример озабоченности проблемами сущности христианского благочестия можно привести «Оружие христианского воина» Э. Роттердамского и «Послание о Фортуне» М. Грека. Появление подобных сочинений можно расценивать как свидетельство наличия диалога внутри христианского общества по проблеме благочестия, в котором одну из заявленных позиций представляли

демонологические сочинения, в том числе – «Молот ведьм».

Специфика понятия «суеверие» в «Молоте ведьм» заключалась в том, что данная категория разрабатывалась применительно к одному явлению – *maleficium* (злонамеренного колдовства), что наложило свой отпечаток в виде акцента на магической составляющей религии. «Магизм» интересен уже тем, что он имел ярко выраженную структуру. С одной стороны, данное понятие было наполнено вполне определённым и конкретным смыслом: проявлением суеверия могло являться как ношение талисманов, не соответствующих католической религиозности, так и прямое богохульство (осквернение гостии e.g.). Примечательно то, что в этом вопросе обвинения в сторону ведьм оказываются очень созвучными обвинениям против евреев, что, возможно, объясняется активным участием «брата Генриха [Инститоториса] из Шлетштата» в преследовании евреев в 1475 г. в Триенте. С другой – вся эта конкретика выступала в качестве своего рода фундамента для «теоретической социологии и антропологии» в концепции «Молота ведьм». В этом вопросе авторы «Молота ведьм», следуя схоластической традиции (прежде всего – Фоме Аквинскому), указывают на необходимость для совершения злонамеренного колдовства особых отношений с Врагом рода людского, в результате чего ведьмы становятся *instrumenta animata* и теряют тем самым человеческий статус.

Таким образом, обе составляющие злонамеренного колдовства в «Молоте ведьм» оказываются интегрированными в единую логическую концепцию, и суеверие, как религиозное нечестие, тем самым достигает своего апогея. «Испорченная» обрядность ведёт к порче человеческой природы для тех, кто её принимает и практикует. Своего апогея подобная ситуация достигает тогда, когда извращение нормы практикуется добровольно, сознательно и целенаправленно: в акте злонамеренного колдовства, цель которого – нанесение ущерба христианскому миру через реальный вред, причинённый конкретным христианам. Достигнув этого уровня, проблема суеверия приобретает новое качество и осмысливается уже как ересь ворожей. Применительно к *maleficium* понятийный аппарат «Молота ведьм» был оформлен через ложную этимологию, объяснявшую, с одной стороны, происхождение слова, с другой, – допускавшую расширительное толкование. «Сверх того, эта ересь отличается и тем, что из всех видов кудесничества она обладает наибольшей степенью злобы. Ведь даже латинское её название – *maleficium* происходит от *maleficere* т.е. *male de fide sentire* (по-русски: дурно относится к вере)» (Цит. по: Шпренгер Я., Инститоторис Г. Молот ведьм. СПб., 2006. С. 80). Это уточнение позволяет истолковывать практически любое проявление религиозного нечестия как *maleficium*.

Однако жёсткая организация данной концепции оказывается той проблемой, которая существенно усложняла её восприятие уже ближайшими потомками. Особенно наглядно это проявляется в уже упомянутом нами парадоксе. Ко второй половине XVI в. этот парадокс приобрёл от-

чётливые очертания: с одной стороны – признание протестантами авторитета *Malleus Maleficarum* во всём, что касается ведьм; с другой – отрицание ими таких специфических способов борьбы с колдовством, практикуемых католиками, как святая вода, молитва, пост, колокольный звон, которые осуждаются и, в свою очередь, в определённых случаях классифицируются как колдовство. Как подтверждение этого можно рассматривать и то обстоятельство, что популярность «Молота ведьм» не распространялась на другое произведение Крамера (Инститориса) – сборник проповедей, посвящённых проблеме причастия. Однако сложность ситуации этим не исчерпывается, поскольку аналогичным образом критиковали концепцию «Молота ведьм» и сторонники т.н. «естественной магии». Сущность проблемы заключалась в том, что авторы *Malleus Maleficarum* попытались уравновесить «дьявольски эффективные, но незаконные практики идеально приемлемыми, но, по-видимому, неэффективными средствами противодействия» (Broedel Н.Р. *The Malleus Maleficarum and the construction of witchcraft: Theology and popular belief. Manchester and New York., 2003. P. 32*). Очевидно, что действенность концепции Шпренгера и Инститориса предполагала наличие веры, в том смысле, в каком её понимали инквизиторы.

Редакция данного понятия проявляется уже в том, что, как отмечает Е.Б. Мурзин, в сочинениях второй половины XVI столетия механизм колдовства изображается весьма простым — он заключается в призывании человеком дьявола, который действует по его просьбе. В этой связи уместно привести определение колдовства, данное викарным епископом города Трира Петером Бинсфельдом, – это «злое деяние, совершённое особым образом с помощью дьявола с целью достижения необычного эффекта» (Мурзин Е.Б. *Трактаты немецких авторов второй половины XVI в. о колдовстве и ведьмах // Книга в культуре Возрождения. М., 2002. С. 106*). Очевидно, что в данном случае мы имеем дело с существенной разницей в понимании: с одной стороны, колдовство предполагает «дурное отношение к вере» (Инститорис), с другой — «злое деяние, совершённое ... с целью достижения необычного эффекта» (Бинсфельд).

Колдовство стало восприниматься как опасность внутри магического универсума и перестало быть проявлением религиозного нечестия. Новые издания *Malleus Maleficarum* в изменившейся обстановке указывают на ревизию и переосмысление его концепции, результатом чего стал перевод данного текста в категорию *auctoritas*, и редукция понятия *maleficium* до простых ситуативных моделей. Ценность «Молота...» теперь определялась большим количеством описаний конкретных случаев злонамеренного колдовства предшествующих столетий, то есть перед нами – легитимизация определённого культурного стереотипа по казуальному принципу. Таким образом, осуществляется включение схоластического трактата в пространство мифа, то есть манипуляции со смыслами привели к определённой «деидеологизации» текста «Молота ведьм».



### **Изучение истории Реформации в Англии в отечественной историографии советского периода**

Научное изучение истории Реформации в Англии в отечественной историографии было начато в XIX в. (Н.И. Кареев, К.П. Победоносцев, А.Н. Потехин, В.А. Соколов и др.). В советской историографии исследований, в которых была бы представлена история Реформации в Англии в целом, не появилось. Поскольку методологической основой отечественной исторической науки советского периода был марксизм, изучение религиозной сферы общественной жизни было смещено на периферию.

Большую научную и организационную роль в изучении Реформации в Англии сыграл Ю.М. Сапрыкин и его ученики (А.А. Петросьян, О.В. Дмитриева, О.А. Руденко, В.Н. Ильин, А.В. Исаенко, Н.А. Смирнова). Но только в конце 1990-х – 2000-е годы появились отечественные исследования, посвященные английскому постреформационному католицизму (А.Ю. Серегина). Ряд работ по этой тематике опубликовала В.В. Штокмар; она же способствовала изучению этих проблем своими учениками и другими историками, связанными с Ленинградским университетом (Ю.Е. Ивонин, С.Е. Федоров, С.В. Кондратьев) и представляющими более молодое поколение (Н.А. Журавель).

Под влиянием деятельности ученика Ю.М. Сапрыкина А.В. Исаенко в Северо-Осетинском университете появились историки, занимающиеся историей пуританского движения в Англии в XVI веке (Т.Х. Хозиева, К.А. Будилова). В отечественной историографии также уделялось внимание рассмотрению идей Дж. Уиклифа и лоллардов – идейных предшественников Реформации (Е.В. Кузнецов, О.М. Козик, Н.В. Щелокова).

Для понимания религиозной ситуации в Англии XVI–XVII вв. важны также работы, в которых рассматриваются и анализируются вопросы политической и культурной истории Англии этого периода, а также работа философа Я.Я. Вейша о формировании англиканской церкви. В отечественной исторической науке также есть историографические исследования Л.П. Репиной, И.И. Шарифжанова, М.И. Бацера, Н.В. Ерохина и других историков, посвященные современной американской и английской историографии Реформации.

Итоговое краткое представление об английской Реформации, сложившееся в отечественной историографии советского периода, нашло свое выражение в двух учебниках: История средних веков / Под редакцией З.В. Удальцовой и С.П. Карпова. М., 1991; История средних веков / Под редакцией С.П. Карпова. М., 2000.

Ю.М. Сапрыкин характеризовал Реформацию в Англии как политическое по характеру явление, в основе которого лежало стремление анг-

лийских дворян и горожан создать национальную протестантскую церковь как орудие абсолютизма, а также завладеть церковными землями и имуществом. Он отмечал, что Реформация проводилась путем жесточайшего террора. С оценками Ю.М. Сапрыкина была солидарна В.В. Штокмар, отметив в своем учебном пособии, что Реформация в Англии, в отличие от ситуации на европейском континенте, отнюдь не представляла собой народного движения. О.В. Дмитриева, по сравнению с Ю.М. Сапрыкиным, пишет о Реформации в рамках учебника более подробно. В трактовке причин Реформации в формулировке причинно-следственной цепи объяснения она обращает внимание не только на политические интересы короны в проведении Реформации, но отмечает также идейные влияния, которые привели к возникновению религиозной Реформации в Англии.

В то же время в ныне используемом втором томе учебника «История средних веков» под редакцией С.П. Карпова в разделе об истории Англии XVI – начала XVII вв. есть неточности, а также требующие корректировки суждения. Томас Кромвель не был лордом-канцлером королевства. Он объединил в своем лице многие должности: с 1532 г. – заведующий королевской сокровищницей, с 1534 г. – королевский секретарь, с 1535 г. – наместник в духовных делах, а лордом-канцлером после отставки Томаса Мора стал Томас Одли – спикер парламента и единомышленник Т. Кромвеля. В третьем томе «Истории Европы» (М., 1993) О.В. Дмитриева уже называет Т. Кромвеля королевским секретарем. Почти полный перечень должностей Т. Кромвеля дан В.В. Штокмар в ее учебном пособии «История Англии в средние века», но она неточно указывает дату рождения короля Эдуарда VI: он родился не в 1538 г., а 12 октября 1537 г.

Реформированная церковь Англии, в отличие от утверждения, предлагаемого в учебнике «История средних веков», не стала сразу (с 1534 г. после принятия парламентского Акта о супрематии) называться англиканской: термин «англиканский» появился в употреблении лишь в первые десятилетия XVII в. Первоначально употреблялось латинское выражение «Ecclesia Anglicana», и соответствующим ему названием в английском языке считалось понятие «церковь Англии. Статья в Оксфордском словаре английского языка (Anglicanism // The Oxford English Dictionary. V. I. P. 464) вообще упоминает самые ранние примеры употребления этого слова в печати в 1838 и 1846 гг. в ходе полемики, связанной с появлением Оксфордского движения в церкви Англии. Причиной столь позднего появления понятия «англиканский» в словоупотреблении британские исследователи считают то, что формирование англиканства как доктрины, обладающей своей специфической идентичностью, происходило вплоть до реставрации Стюартов в 1660 г. и завершилось в 1662 г. с появлением нового издания молитвенника и символа веры, а 1534 год стал только началом этого сравнительно долгого процесса.

О.В. Дмитриева в учебнике «История средних веков» (под ред. С.П. Карпова) пишет, что при регентах Сомерсете и Нортумберленде в правление Эдуарда VI (1547–1553) в церковной доктрине «были приняты положения, приблизившие англиканскую церковь к лютеранской модели: о таинстве причащения (Евхаристии) как чисто символическом действе». На самом деле лютеранство придерживалось в трактовке Евхаристии не символического понимания этого таинства, а так называемой доктрины консубстанцииации (присутствия Христа в Евхаристии не поддающимся рациональному осмыслению образом). Символическим же понимание причащения было не в лютеранстве, а в цвинглианстве. В учебнике упоминаются также две группы в среде пуритан – пресвитериане и индепенденты. Но первоначальное название тех, кто впоследствии повлиял на возникновение индепендентов, – сепаратисты, и это понятие используется современными британскими историками.

Ю.М. Сапрыкин утверждал, что пуритане в Англии проповедовали идеи установления «дешевой церкви», между тем вопрос об этом не так прост. В таком суждении совершенно не учитывается то, что пуритане выступали за увеличение денежного содержания образованных священников, которые могли самостоятельно составлять проповеди, и пуритан даже обвиняли в том, что они стремятся к тому, чтобы увеличить материальное состояние духовных лиц, что отнюдь не делало церковь «дешевой». Дискуссионным является и вопрос о социальной природе пуританизма. Британские историки утверждают, что при своем возникновении пуританизм был лишь движением в среде духовенства, а только потом к нему почувствовали тяготение представители разных социальных групп.

Не проясненным остается в отечественных учебниках и вопрос о том, насколько тяготила Англию до Реформации необходимость уплачивать Риму часть доходов, получаемых духовенством. В 1485–1533 гг., по подсчетам А.Дж. Диккенса, опубликованным в работе «Английская Реформация» (1964), ежегодный объем всех платежей в Рим в среднем составлял около 4 800 фунтов в год. Накануне выхода Англии из-под власти Рима английское духовенство выплачивало королю и Риму вместе около 17 300 фунтов в год. После же начала Реформации в 1535–1547 гг. церковь Англии платила уже только королю в среднем 47 тысяч фунтов в год, хотя при этом следует учитывать начавшуюся инфляцию.

В целом, результатом изучения Реформации в Англии в советской историографии стало формирование общего представления об этом процессе как одной из форм идеологического выражения генезиса капитализма. Работавшие на марксистской методологической основе советские историки представили лишь социально-экономическую трактовку Реформации в Англии. Советские историки также уделяли мало внимания доктринальной, богословской стороне Реформации и оставили без внимания большинство крупных деятелей и даже религиозную политику монархов, оказавших влияние на ход английской Реформации.

### **Понятие историографического источника и историографического факта в советской историографии**

Впервые в советской историографии целостно, системно, с позиций марксистской теории исторического процесса, теоретические вопросы историографии как исторической дисциплины были представлены и рассмотрены в труде Н.Л. Рубинштейна «Русская историография». Эти вопросы занимают особое место среди теоретических проблем труда этого выдающегося историографа XX века.

В «Русской историографии» дается обоснование таких теоретических вопросов науки как понятие об историографическом источнике и историографическом факте. Отметим, что четкого определения этих понятий ни в книге, ни в тезисах докторской диссертации, положенной в основу данного труда, Н.Л. Рубинштейн не дает, но для понимания его толкования этих вопросов имеем его статью от 1962 года «О путях исторического исследования», в которой он, развивая идеи книги, пишет, что «историографический источник аналогичен историческому источнику в конкретном историческом изучении. Но, в отличие от исторического источника, который мы стремимся подвергнуть всеобъемлющему охвату, историографическое изучение требует... представительного отбора» (Рубинштейн Н.Л. О путях исторического исследования // История СССР. 1962. № 6. С. 117). Историк рассматривается как «представитель направления или школы, объединяемой единством методологических принципов исследования и тематической общностью или общностью проблематики, отражающей его понимание органической сущности и структуры исторической действительности» (Там же. С. 120), при этом «общность направления не снимает индивидуальность историка, она должна из нее вырастать» (Там же. С. 119).

Историографический источник – это непосредственно сами исторические произведения. Историографический факт, кроме того, что он является исходным материалом для историографической работы, еще несет в себе информацию о развитии науки, ее деятелях. Н.Л. Рубинштейн убежден, что «действительный путь науки получает свое полное и отчетливое выражение в ее наиболее ярких и типичных представителях... само изучение сменяющихся исторических направлений возможно лишь через анализ творчества основных, наиболее типичных представителей каждого периода, каждой школы» (Там же. С. 121). Отсюда необходимость определения конкретной исторической обусловленности рассматриваемых научных концепций, трактовка концепции ученого как историографического факта.

Само понятие «историческая концепция» широко. Оно включает в себя не только понятийный аппарат, с помощью которого историк анали-

зирует и осмысливает исторические факты и явления, но и представление историка об исследуемых фактах, его оценки и суждения по поводу значения существа, особенностей фактов, и, наконец, выводы и обобщения историка, конечные результаты проверенного им осмысления исторических фактов. Концепция ученого может быть выражена не в одном его сочинении, а в нескольких.

В 1980-х годах понимание историографического факта и историографического источника оказалось в центре дискуссии по методологическим и теоретическим проблемам истории исторической науки. С одной стороны, конкретизировалось содержание понятия историографического факта как авторской концепции: это такая концепция историка, которая действительно воплощает в себе новое в науке, способствует развитию науки на каждом этапе ее поступательного движения (Иллерицкий В.Е. О толковании содержания историографического факта // Методологические и теоретические проблемы истории исторической науки: Межвуз. тематич. сб. Калинин, 1980. С. 75-76). В этой связи принцип историзма должен быть в основании критерия оценки и анализа историографического факта. А.И. Зевелев, В.П. Наумов утверждали, что «историографический факт проверяется и оценивается в сопоставлении со временем его возникновения, исходя из развития исторической науки в момент его появления» (Зевелев А.И., Наумов В.П. Историографический факт: критерии оценки и анализа // Там же. С. 67). С другой стороны, исследователи предлагали расширить содержание понятия, включив в него «дискуссии, факты личной биографии ученого, его печатные труды, деятельность вообще и преподавательскую деятельность в частности» (Гутнова Е.В. О типах историографических фактов и концепции историографа // Там же. С. 96). Они резюмировали, что «исторический факт, относящийся к истории исторической науки, и есть историографический факт» (Городецкий Е.Н. О многозначности понятий «историографический факт» и «историографический источник» // Там же. С. 118).

Наряду с сохранением подхода к историографическому источнику как к произведению историка, содержание определения историографического источника также расширялось. Исторический источник, содержащий в себе историографическую информацию, мог быть (в зависимости от целей исследования) отнесен к историографическому источнику.

Таким образом, понятие историографического источника и историографического факта эволюционирует в сторону расширения своего содержания, которое становится подвижным в зависимости от задач исследователя: изучает ли он развитие истории исторической мысли или историю исторической науки, научно-исторические учреждения. Бесспорным стало признание многоаспектности историографического факта и историографического источника.

## Историографический быт эпохи: содержание понятия

Понятие «историографический быт эпохи» было предложено мною в 1996 г. и постепенно входит в арсенал историко-историографических исследований. Под этим понятием понимается исследовательский конструкт, который описывает структуру историографического знания как некоторую коммуникативную целостность. В номенклатуру понятия входит описание господствующих в ту или иную эпоху историографических жанров, а также способов и форм общения историков, форм организации и функционирования научных сообществ и школ.

Традиционно фиксируемый «верхний слой историографии» – концептуальный – на самом деле, питается «соками» историографического быта, структуру которого можно представить как напряженное триединство следующих составляющих: «я-в-истории» как момент личностного включения историка в свое время и пространство, «ментальных моделей исторического сознания» как глобальных феноменов мышления в определенной культуре (прежде всего эксплицированных в качестве эпистем) и адресата (сообщество историков, публика или сам автор, пишущий «в стол»). Изучение историографического быта эпохи позволит ответить на многие вопросы: как связана эго-история самого историка с его научными студиями, почему одни историографические жанры (например, исторические афоризмы) еще недавно заполнявшие страницы исторической периодики, исчезают, уступая место иным жанровым образованиям, в конечном итоге, – почему меняются дискурсивные практики историков, определяя господство той или иной историографической парадигмы.

Историографический быт включает в себя и вопросы нарратологии, междисциплинарной области, актуализирующей лингвистические, литературоведческие, историографические и текстологические механизмы текстопорождения.

С дискурсивной точки зрения, историографическое повествование можно представить в виде трехслойной сферы: внешнюю оболочку составляет идеологический уровень текста, следующий, более глубокий – нарратологический уровень, наконец, сердцевину сферы занимает дискурсивный уровень организации исторического повествования.

Предметом (и единицей) идеологического уровня организации текста может быть назван **концепт**. Традиционная историография, как правило, занималась именно этим уровнем: идентификация историка проводилась на основании декларируемых и скрытых концептуальных оснований.

**Письмо** (в смысле Р. Барта) является единицей нарратологического анализа исторического повествования. Нарративность, понятая как риторическая модальность «порождающего повествовательного акта», без которой «нет повествовательного высказывания» (дискурса), «нет и пове-

ствовательного содержания» истории (Ж. Женетт). В качестве характеристик нарратологического анализа могут быть (по Ж. Женетту) следующие: порядок, темп, повторяемость, модальность.

Единицей дискурсного анализа историографического нарратива является **коммуникативная стратегия** текста. Она лежит в основе всякого высказывания и в значительной степени его формирует.

Для сюжетно-повествовательных дискурсов В. Тюпа выделил три коммуникативных стратегии, к которым может быть сведено все многообразие повествовательных жанров: *сказание, притча, анекдот*. Подобная редукция означает, разумеется, лишь преобладание в конкретном тексте той или иной стратегии, но не его жанровые или стилевые характеристики. Коммуникативная стратегия *сказания* своим сюжетным основанием полагает **факт**: с действительностью сказание интенционально соотносится как реалистический портрет с натурой. Но это именно интенция – иногда место реального факта занимает факт текстовой: событие, о котором рассказывается, замещается событием самого рассказывания. *Притча* как коммуникативная стратегия свое основание видит в **этосе**, делая основным сюжетным ходом значимый этический выбор своих персонажей. С действительностью она разговаривает императивно, предписывая подчиняться априорным законам. *Анекдот* как дискурсная стратегия основывается на **казусе**, не подчиняющимся никаким установлениям и полагающим своим естественным пространством пространство игры.

С точки зрения указанной типологии, разнообразные направления позитивистской историографии в основе имеют коммуникативную стратегию *сказания*. Историографические школы и направления, ангажированные какой-либо априорной идеей, в основании имеют *притчевый* дискурс. Феноменологическая историография (например, микроистория) восходит к коммуникативной стратегии *анекдота*.

Представляется, что вектор развития современной историографии все более разворачивается в сторону анекдотического дискурса как самого свободного и непредсказуемого.

Изучение историографического быта касается и лаборатории историка: так например, при рассмотрении личных дневников историков XX в., ставших свидетелями крупных исторических катаклизмов, можно заметить, каким образом «разворачивается» их эпистемологическая оптика и наработанные методы анализа переносятся на события современной им действительности. Анализ дневника Ю.В. Готье, например, показывает, что основным способом идентификации событий 1917 и 1918 годов для московского историка становится проведение параллелей с подобными событиями Смутного времени XVII века и Французской революции.

Кажется, что очередными сюжетами историографического быта могла бы стать реконструкция тезаурусов отдельных историков или целых направлений в историографии: базовые метафоры определяют проблемное поле и эпистемологию историографической формации.

Дискуссия о том, является ли понятие «историографический быт» просто метафорой или практически совпадает с известным понятием «габитус» мне кажется неосновательной: предлагаемая структура понятия делает его вполне инструментальным, а понятие П. Бурдьё «габитус» просто не совпадает с содержанием историографического быта эпохи, находясь с ним в отношениях дополнительности.

*Н.Г. Самарина* (Московский гуманитарный педагогический институт)

### **Язык музея: источниковедческий аспект**

Понятие и специфика языка музея дискутируются в научной литературе с середины XX в. Дискуссия развертывается в рамках четырех подходов: осознание феномена музея как института памяти (феноменологический подход); позиционирование музея в качестве открытой социальной информационной системы, направленной на передачу информации специфическими музейными средствами (информационный подход); трактовка музея как публичного института, сохраняющего и презентующего социокультурные явления посредством знаковых систем (семиотический подход); рассмотрение всех форм коммуникации индивидуального и коллективного субъекта с социокультурной действительностью, осуществляемых посредством музея (коммуникативный подход). Таким образом, понятие языка музея размывается, рассматривается в широком диапазоне от осознания его как целостной, неделимой структуры до проблем музейного проектирования и музейной коммуникации как основополагающих и исчерпывающих.

В рамках каждого подхода встает вопрос о том, какова неделимая смысловая и структурная единица музейного языка, на основе которой выстраиваются культурные тексты, транслирующие и интерпретирующие культурное наследие. Эта единица – музейные предметы (источники), но понимание природы источника, универсальность проблем его интерпретации, недостаточно освоены представителями музейных профессий.

А.М. Разгон считал, что весь комплекс решаемых музеем задач, в том числе и экспозиции, замыкается на источниковедческих исследованиях (Разгон А.М. Музейный предмет как исторический источник // Проблемы источниковедения истории СССР и специальных исторических дисциплин. М., 1984. С. 175). Эта позиция по-разному трактуется в музееведческой литературе. Н.П. Финягина считает, что в силу большей широты понятие исторический источник перекрывает понятие музейный предмет, однако исключает простое «калькирование» методов профильного источниковедения: музейное источниковедение делает акцент на семантической информации (Финягина Н.П. Развитие музейного источниковедения – важнейшая задача современного музееведения // Слово о



соратнике и друге: К 80-летию А.М. Разгона. М., 1999. С. 18-19). К этой трактовке присоединяются В.М. Суринов и Л.Т. Сафразьян, которые рассматривают музейность как общее свойство информационной структуры источника, а под музейностью понимают специфику фиксации действительности в источниках, позволяющую наиболее эффективно формировать массовое историческое сознание.

В.Ю. Дукельский поддерживает позицию А.М. Разгона в том, что многие формы музейной деятельности теснейшим образом связаны с музейным предметом, поэтому критерием для разграничения музейных терминов может служить факт направленности деятельности на сам предмет или на его включение в более широкие системы: экспозицию, музейное собрание, музейный фонд страны (Дукельский В.Ю. Терминологические проблемы музейного предмета // Терминологические проблемы музееведения. М., 1986. С. 27-34). Рассматривая свойства музейного предмета, автор обозначает интересующую нас проблему: в середине 1980-х гг. не существовало особого понятия для характеристики предмета, выступающего в качестве объекта музейного источниковедения, однако методика его изучения носила источниковедческий характер и заимствовалась из исторической науки. Музеифицированный источник, изъятый из прежней среды бытования или специально изготовленный для экспозиционного использования, выступает не только как источник информации, но и как источник эмоционального воздействия, средство воспитания и образования, т.е. выполняет функцию инкультурации. Значение музейного предмета определяется не только его конкретными признаками и свойствами, но и научной, мемориальной, исторической и художественной ценностью.

Е.А. Воронцова (Музейное дело России. М., 2003. С. 231) считает, что сторонники музейного источниковедения термины источник и музейный предмет употребляют чуть ли не как синонимы. Следует согласиться, что особого музейного источника не существует. Однако типология источников с наибольшей полнотой и разнообразием представлена в музейном хранении, вследствие чего методика источниковедческого исследования в музее вырабатывается применительно ко всей генеральной совокупности источников, отражающих социокультурный процесс. Вспомогательные (специальные) дисциплины сформировались как вспомогательные не по отношению к музееведению, а по отношению к фундаментальным наукам и источниковедению, предмет которого поглощает предметы этих дисциплин. В рамках источниковедения обобщается методика анализа источника, а, следовательно, и музейного предмета.

В.Н. Цуканова, обращаясь к проблеме музейности источника, отмечает, что источникообразующая функция музейного предмета максимально реализуется в экспозиции, тогда он становится источником исторического, историко-культурного и историко-научного знания, будучи рассчитан на восприятие не профессионала, но музейной аудитории (Цуканова В.Н. Источник в музее: музееведческие особенности // Проблемы теории, ис-

тории и методики музейной работы: источниковая база музеев. М., 2004. С. 58-80). Специфическое свойство музейного источника – его мемориальность. Автор особенно подчеркивает, что в музее хранятся разные типы источников, и они обладают равными семантическими свойствами.

Теоретические проблемы музейного источниковедения рассматривались автором доклада в ряде статей, сообщений и других публикаций, общие положения которых представлены в главе «Музейное источниковедение» учебного пособия «Основы музееведения», подготовленного коллективом авторов под руководством Э.А. Шулеповой (М., 2005. С. 67-105). Не останавливаясь подробно на анализе определений источника, данных в литературе, предлагаем собственное, которое, на наш взгляд, характеризует его основные свойства. *Источник – это текст, содержащий в отраженном и фиксированном виде информацию о социокультурной действительности и являющийся результатом деятельности индивидуального или коллективного субъекта.* Термин «текст» в данном случае позволяет передать неисчерпаемую природу источника, в котором информация может быть закодирована любым способом, в произвольной форме. Он также позволяет включать в совокупность источников как вербальные, так и невербальные (знаковые, изобразительные, вещественные и т.п.) способы кодирования информации.

Своеобразным итогом обозначенной дискуссии стала публикация «Словаря актуальных музейных терминов» (Музей. 2009. № 5. С. 47-68), в котором отсутствуют статьи «музейное источниковедение» и «музейный источник», а термин «язык музея» характеризуется как метафора.

По нашему мнению, *язык музея – это целостная система текстов, отражающих и воплощающих социокультурную действительность.* Будучи языком культуры, он обеспечивает передачу накапливаемого опыта от индивида к индивиду и от поколения к поколению. Средства музейной коммуникации позволяют реконструировать и моделировать на музейном языке любой фрагмент пространства и момент времени, разрушая границы пространственно-временной локализации человеческого опыта.

*А.А. Сальникова* (Казанский ГУ)

### **Советская елочная игрушка как текст: особенности прочтения и интерпретации**

Принцип суверенности и равноправия источников предполагает рассмотрение их как единого комплекса «текстов» с обязательным учетом присущего им типового, видowego, структурного, содержательного, жанрового и хронологического разнообразия, особых условий и форматов возникновения, бытования и существования в культуре, особых подходов к их изучению и прочтению как исследователем, так и адресатом. Среди

многочисленных и достаточно разнородных источников по советской истории особое место принадлежит вещам.

Власть всегда стремилась заставить «потребителя» увидеть и «прочитать» за «инструментальностью» вещи некое предписанное и приписанное ей символическое значение. В наивысшей степени это касалось тех предметов, которые были семантизированы изначально и имманентно, тех вещей, чья знаковая, «духовная» сущность уже при их создании оказывалась гораздо более важной, нежели чем их сущность «вещная», материальная (А.Л. Топорков). Весьма показательной в этом плане являлась елочная игрушка – неотъемлемая часть рождественского / новогоднего ритуала, организовывавшая праздничное пространство в его «вещном» измерении, прочно вошедшая в жизнь советских детей и взрослых, начиная со второй половины 1930-х гг.

В отличие от большинства других вещей, встроенных в ткань советской рутинной повседневности, елочная игрушка представляла собой по большей части лишь презентационный носитель информации. Не являясь абсолютно «внефункциональной» или просто «декоративной» и выполняя «системную функцию знака», она все же была достаточно маргинальной (Ж. Бодрийяр). Будучи глубоко мифологичной, она отсылала «потребителя» (в первую очередь, ребенка) к миру-мифу, но миру-мифу, коррелирующему с действительностью, и потому представляла собой не столько «сказку», сколько образец почти автоматического – сознательного или бессознательного – «запечатления» нормативных и нормализующих установок власти в художественной форме. Материальное и духовное (идеологическое) здесь «взаимно отождествлялось», «переплеталось», «рождая новое, художественное единство», «не уничтожая, но уравнивая друг друга» (М.С. Каган).

Изучение елочной игрушки предполагает рассмотрение ее, по крайней мере, в двух неотделимых друг от друга ипостасях. Во-первых, как вещевой реалии советского предметного мира и, во-вторых, как символа новой, советской действительности (с особым акцентом на вопросах ее смыслового наделения и «прочтения»). Такой подход позволяет показать не просто то, что она символизирует, но «как, когда и почему она это делает, выходя за границы своей утилитарности и становясь органичной частью духовного пространства» (Д. Баранов).

Советская елочная игрушка была многофункциональна по назначению и сложна по содержанию, неся в себе явное или скрытое познавательно-образовательное, художественно-эстетическое, семантико-семиотическое и оценочно-идеологическое начало. Подобная полиглоссия елочного текста предусматривает применение особых методов и приемов его транскрибирования и интерпретации. Возможной и весьма полезной оказалась, в частности, методика реконструкции процесса складывания советского визуального елочного канона как некоего официального легитимированного властью идеологически оформленного визуального об-

раза. Этот образ оказался закрепленным как в вербальных, так и в визуальных текстах, причем как в «детских», так и во «взрослых». «Взрослые» тексты были приоритетны при рассмотрении проблемы выстраивания советского елочного нарратива и предлагаемых властью путей, способов и методов его прочтения. «Детские» тексты призваны были отразить специфику детского «прочитывания» предлагаемого. Акцент был сделан на отраженном и воспроизведенном в них детском «видении», детской «оптике» как особом способе освоения елочного визуального текста и создания идентичных или альтернативных его аналогов, но уже «детского» происхождения. В этой связи достаточно широко употребляемая в современном исследовательском дискурсе практика «разглядывания» источника, когда визуальный текст прочитывался подобно «телесной партитуре» (Р. Барт, Т. Дашкова, В. Подорога, М. Ямпольский и др.), оказалась приемлемой лишь с определенными уточнениями и ограничениями. Поскольку «увидеть» елку следовало глазами ребенка, неосценимое значение наряду с детскими вербальными текстами приобретали детские рисунки на «елочную» тему с их в общем-то достаточно стандартной видовой матрицей, но вместе с тем и особой стилистикой.

Первоначально (в соответствии с установкой, данной в небезызвестной статье П.П. Постышева) советская елка рассматривалась исключительно как детский праздник. Поэтому «новые» елочные игрушки были ориентированы, в первую очередь, на детей, хотя реально елка находилась в ситуации «детско-взрослого» культурного пограничья. Выстраиваемый на елке предметно-образный ряд, состоящий во многом из достаточно традиционных, привычных для «старой» – рождественской – елки предметов, должен был отныне заключать в себе новый символический смысл и функции, направленные и на отторжение былой религиозной традиции, и на воплощении советского имперского дискурса. Образова изначально довольно случайный и даже противоречивый (в силу отсутствия необходимых – да и вообще всяких – игрушек и украшений и неразработанности соответствующих методик) «елочный» визуальный текст, этот ряд все более «застывал» и «кристаллизовался» (В. Паперный).

Однако недостаточно было этот текст создать – его нужно было правильно прочесть. Анализ советских директивных и исполнительных документов второй половины 1930-х – середины 1960-х гг. – периода складывания, закрепления и торжества канонизированного образа советской елки – показывает, что основными требованиями, предъявляемыми к елочной игрушке в СССР, были требования ее массовости и доступности. Ведь не только и не столько «высокое искусство», сколько массовая художественная продукция, представлявшая и воплощавшая «minor art» (П. Бурдьё), должна была способствовать выработке и распространению новых «культурно-политических» художественных стереотипов. Пропаганда «монументальных, героизированных» форм искусства предполагала понимание монументальности как «повышенного и героического

ощущения жизни), а потому эта монументальность могла проявляться и в бытовой картине, и в натюрморте, и в «мелкой пластике», и, как это ни курьезно звучит, в елочной игрушке.

Учитывая особенности маленького «читателя», главными признаками советской елочной игрушки должны были стать, с одной стороны, ее особая зрелищность, достигаемая за счет яркости, красочности, «удивительности», а с другой – максимальная доступность в ее восприятии, осуществляемая за счет простоты и узнаваемости образов (обычно – путем типизации и генерализации). Не случайно среди советских елочных игрушек было так много елочных «детей», а елочные «взрослые» – красноармейцы, матросы, милиционеры, колхозники, позднее – космонавты – были обычно под них стилизованы.

Идейно-символический смысл новой елочной игрушки мог быть выражено и явно, и тайно (скажем, красная звезда на верхушке, с одной стороны, и, казалось бы, совершенно «аполитичные» овощи и фрукты, которые на самом деле олицетворяли советское изобилие, с другой). Но явное было, безусловно, предпочтительнее.

Усилия власти оказались не напрасными, и вскоре елка засияла светом тех символических значений, которые приписывали ей советские воспитатели. Однако имеющиеся образцы «нарушения норматива» (Ю.М. Лотман), прослеживаемые в визуальных и вербальных текстах, свидетельствуют об убежении от канона и о наличии особого, в том числе и специфически «детского» видения, как одного из способов формирования советской идентичности.

Так елочная игрушка вносит свой вклад в создание нового – «вещественного» – источниковедческого исследовательского поля, междисциплинарного и методологически вариативного в своей сути, располагающего множественными языками выражения, требующими адекватного прочтения, перевода и системного анализа.

*А.А. Сальникова, Д.М. Галиуллина* (Казанский ГУ)

### **«Национальный» букварь как особый вид нарратива: Татарстан, 1990-е – 2000-е гг.\***

Школьный учебник и в особенности учебник для начальной школы представляет собой особый тип нарратива. Это, как правило, официально одобренное издание, отражающее и воплощающее властную образовательно-воспитательную политику и властные образовательно-воспитательные стандарты. Это текст массовый не только в «бытовом» смысле

---

\* Работа выполнена в рамках коллективного проекта «Исследование образов семьи и ребенка в учебной литературе для начальной школы: 1987–2006», финансируемого РГНФ (№ 09-06-00950а).

(что достигается широчайшим тиражированием, приобщенностью к нему практически каждого и сильнейшим влиянием его на массовое сознание), но и в классическом источниковедческом понимании (что обусловлено его стандартизованностью по форме, языку и характеру содержащейся информации). Это достаточно однородный, одностилевый упорядоченный текст, который при внешней фрагментированности составляющих его высказываний, слов и фраз складывается в законченное, целостное повествование. Это смешанный (креализованный) текст, причем визуальное (особенно на первых порах обучения) часто доминирует над вербальным. И, наконец, это, безусловно, закодированный текст, где соотношение тайного и явного, эксплицитного и имплицитного может бесконечно варьироваться в зависимости от того исторического контекста, в который этот учебник встроен, и той конкретной историко-политической ситуации, которой он порожден.

В связи с полемикой, развернувшейся по поводу так называемого «этнокомпонента» в федеральном образовательном стандарте, своевременным представляется обращение к постсоветским учебникам для начальной школы на национальных языках. Подвергшись – вместе со всеми российскими учебниками – реформированию, направленному на избавление от «советскости», эти учебники не могли не испытать на себе влияния тех общественно-политических перемен, которые происходили в национальных регионах, что можно проследить на примере татарского букваря «Алифбы» последнего двадцатилетия и его языка – как вербального, так и визуального.

Декларация о государственном суверенитете Татарской ССР (1990) провозгласила, а Конституция Республики Татарстан (1992) законодательно закрепила наличие в республике двух равноправных государственных языков – татарского и русского, что предусматривало возрастание удельной доли «титульного» языка в образовании. В этих условиях остро встал вопрос об учебниках татарского языка для начальной школы. Большинство детей Татарстана в 1990-е гг. обучалось по «Алифбе» для трехлетней начальной школы Р.Г. Валитовой и С.Г. Вагизова, созданной еще в 1964 г. и выдержавшей более 30 изданий. О ней и пойдет речь. Нас интересовало, в частности, то, как отражались в языке «Алифбы» советский, постсоветский и национальный дискурсы, как они соотносились между собой, как изменилось это соотношение на протяжении 1990-х – 2000-х гг. и как все это можно было в учебнике «прочитать».

Позднесоветская «Алифба» представляла собой типичный советский учебник, приправленный национальным колоритом. Если сравнить ее с широкоупотребимым «Букварем» В.Г. Горецкого, то степень «советизации» была здесь гораздо ниже. Только открыто обозначенные символы «советскости» (портрет Ленина, изображение карты СССР, Красной площади, крейсера «Аврора», буденовки, красного флага, серпа и молота, пионерского горна, барабана и красного галстука и др.) встречались в

букваре Горецкого не менее чем на трети страниц; в «Алифбе» – лишь на 8 страницах из 100. Впрочем, и от этой многочисленной советской символики «Алифба» скоро избавилась: так, уже в издании 1992 г. на месте Красной площади и портрета Ленина появились картинки с изображением новогодних празднеств. Однако красные галстуки еще продолжали рдеть на груди «букварных» детей. В издании 1994 г. от манифестируемой «советскости» не осталось и следа: «колхоз» и «совхоз» в текстах заменили «деревней», «колхозник» стал «хлеборобом», четверостишие о Ленине удалили.

Тем не менее, на протяжении 1990-х гг. это издание оставалось вполне «советской» учебной книгой. Оно проповедовало «советские» (впрочем, близкие к общечеловеческим) ценности: трудолюбие, прилежание, послушание, заботливость, взаимопомощь, уважение к старшим, любовь к природе и родному краю, аккуратность, которые демонстрировали как взрослые, так и детские персонажи букваря (и как экторы, и как наблюдатели, и как герои вербальных текстов). Манера поведения, занятия, одежда, игрушки, мимика, жесты, позы этих людей несли на себе печать неистребимой «советскости».

При всем том возможность отхода от общесоветской педагогической парадигмы создала более комфортные, чем прежде, условия для укрепления национальной идентичности, утверждения национально-региональной культурной специфики. Этноцентричность «национальных» учебников неизбежно вела к сознательному пространственному ограничению, «фрагментации» изображаемой действительности. «Алифба» предлагала татарскому и русскому ребенку увидеть образ татарского народа – «своего» или «другого» – путем помещения на страницах учебника реалистичных и при этом совершенно стереотипных (и в силу этой стереотипности понятных), «национально» маркированных образов и простейших комментирующих их слов, фраз и текстов. Такие маркеры, как четко вырисованные антропологические черты внешности детей и взрослых, элементы татарской национальной одежды, изображение праздника Сабантуй, танцоров в национальных костюмах, татарские имена детей оставались практически неизменными как в советских, так и в постсоветских изданиях 1990-х гг.

Однако персонажи национального букваря должны были не просто демонстрировать атрибуты национальной культуры – они должны были стать носителями и трансляторами национальных традиций и ценностей, более того – некой «этнической эксклюзивности» (Г.В. Касьянов). Поскольку «традиционностью», как известно, отмечено именно сельское социокультурное пространство, изображаемая на страницах «Алифбы» культура была культурой преимущественно сельской. «Национальное» выражалось в «Алифбе» в значительной степени через образ жизни, занятия и поведение людей, живущих в деревне, в селе, в крайнем случае, в

районном центре, но уж никак не в большом городе. В букваре не было ни одной картинки с изображением Казани.

Такой подход был до какой-то степени оправдан вплоть до начала 1990-х гг., когда «Алифба» была ориентирована на сельскую татарскую школу. Но когда по этому букварю стали учиться городские дети, подобное выстраивание нарратива обрекало учебник на коммуникативный разрыв и трудности в понимании и транскрибировании предложенных текстов, причем как русскими, так татарскими городскими школьниками.

Начиная с 2003 г. в Татарстане было издано новое поколение учебников татарского языка. «Алифба» была сохранена только в татарских школах. Но это была уже другая «Алифба» – яркая, красочная, отказавшаяся от реалистически будничного изображения действительности в пользу фольклорно-сказочного и полусказочного нарратива (что особенно очевидно проявилось в визуальной риторике), существенно расширившая свой пространственный охват, но так до конца и не избавившаяся от идиллических изображений сельской жизни. «Этнокомпонент» в ней резко усилился: в том или ином проявлении он присутствовал практически на каждой странице букваря.

Таким образом, претерпев определенную эволюцию на протяжении 1990-х – 2000-х гг., татарский букварь представлял собой причудливую смесь советского, постсоветского и национального, причем одно зачастую презентировалось за счет другого. Так, способ подачи «национального» был, по большому счету, традиционно советским, а «постсоветскость» как, в первую очередь, актуализация этничности в структуре личностной идентификации и постулирование суверенизации, декларировалась и визуализировалась путем расширения именно национального дискурса. Традиционализм и дезурбанизм ограничивали возможности отображения, прежде всего, постсоветской повседневности. Все сказанное еще раз подтверждает недостаточность подхода «изнутри» и важность участия «аутсайде-ра» в практике создания и прочтения национального букваря.

*С. С. Шадрин* (Казанский ГУ)

### **Н.А. Соболева как гимнолог**

Надежда Александровна Соболева вошла в отечественную историографию как один из крупнейших геральдистов. В 1985 г. она защитила докторскую диссертацию «Российская городская и областная геральдика XVIII–XIX вв.», а в постсоветский период занялась также изучением истории российской и советской гимнографии.

Деятельность Н.А. Соболевой по изучению истории национальных гимнов началась в очень непростых условиях. Традиции классической гимнологии, заложенные в России на рубеже XIX–XX вв., были фактически прерваны Октябрьской революцией 1917 г. В советской исторической



науке гимнология никогда не рассматривалась как самостоятельная область исследований. Исключение составляла лишь проблема «происхождения, истории и толкования» гимна международного коммунистического движения «Интернационал», разработанная в брошюре некоего М. Арика, статьях этномузыковеда Е.В. Гиппиуса (1903–85) и в наибольшей степени в капитальных трудах литературоведа С.Д. Дрейдена (1905–91). Кроме того, в 1980-е гг. литературный критик В.П. Александров (1934–92), изучавший творчество поэта и гимнографа С.В. Михалкова, отдельно затронул в контексте его биографии историю создания в 1943 г. Государственного гимна СССР.

Н.А. Соболева впервые предприняла попытку комплексного изучения истории всех государственных гимнов России и СССР. Источниковую базу ее исследований составили материалы дореволюционной, советской и постсоветской периодической печати, мемуары отечественных гимнографов и, наконец, рассекреченные делопроизводственные документы из фондов Государственного Архива РФ. Наряду с этим Н.А. Соболева аккумулировала в своих трудах достижения всей предшествующей и современной ей историографии проблемы. Предметом ее изучения являются становление национальных гимнов в России, эволюция отечественной гимнографии в XVIII–XX вв., история использования гимнов в качестве государственных символов и их восприятия в общественном сознании, а также выявление их жанровых особенностей.

Отказавшись от классового и идеологически ангажированного подходов в гимнологии, Н.А. Соболева поставила своей задачей развеять «домыслы и суждения об истории государственных гимнов России, СССР и нынешней Российской Федерации», ставшие «камнем преткновения» для сограждан. Благодаря этому ей удалось представить развитие всей отечественной гимнографии как единый, непрерывный и в известном смысле последовательный процесс, отражавший «мировоззренческий и духовный настрой общества» на различных этапах российской и советской истории. С равным уважением и беспристрастием Н.А. Соболева подошла к изучению полярных по своей идейной направленности гимнов (будь то, например, «Боже, Царя храни!», «Интернационал» или современный Государственный гимн РФ), подчеркивая, что при утверждении официальной символики учитывались не только интерес власти, но и объективные «исторические традиции и политические устремления, а иногда – народный колорит без всякой политики». Заложенные Н.А. Соболевой принципы историзма и «беспартийности» в изучении отечественной гимнографии стали доминирующими в методологии современных российских исследователей данной проблемы.

Особый интерес у Н.А. Соболевой как гимнолога вызвал вопрос о времени возникновения первого государственного гимна России. В первых своих работах она, вопреки существовавшей ранее традиции, указывала на 1816 год – дату, когда был издан указ Александра I об исполнении

«Молитвы русских» при встречах императора, и соотносила сроки ее «бытования в России» с периодом существования в Европе «Священного союза». Однако в 2000-е гг. Н.А. Соболева отказалась от этой периодизации, т.к., на ее взгляд, данное произведение «вряд ли признавалось тогда государственным российским гимном, ибо не утвердилось еще в качестве обязательного атрибута различных официальных церемоний». В итоге она согласилась с мнением ряда других историков о необходимости рассматривать появление русского национального гимна «в контексте формирования идеологии николаевской России» и в связи с провозглашенной в 1833 г. доктриной «православие, самодержавие, народность». Более того, Н.А. Соболева предостерегла последующих исследователей от идентификации государственных гимнов с близкими им по характеру и звучанию гимнами-маршами, гимнами-молитвами и т.д., что неизбежно сдвигает дату появления музыкально-поэтического символа страны к более ранним историческим эпохам.

Большое значение для развития гимнологии имело и введение Н.А. Соболевой в научный оборот комплекса неопубликованных архивных источников по истории создания Государственного гимна СССР (документы СНК СССР – ГАРФ). В то же время Н.А. Соболева не использовала материалы из других архивов, что привело к возникновению ряда фактических неточностей в ее исследованиях. Так, например, она сообщает, что на рассмотрение конкурсной комиссии в 1942–43 гг. было представлено 123 гимнических текста, в то время как таковых (с учетом проектов, сохранившихся в фондах РГАСПИ и РГАЛИ) было не менее 150 вариантов 73 авторов, не считая 33 редакций текста С.В. Михалкова и Г.А. Эль-Регистана. Впрочем, подобного рода замечания не снижают значения сформулированных Н.А. Соболевой окончательных выводов.

*А.В. Хазина, Л.В. Софронова* (Нижегородский ГПУ)

### **Живые «мертвые» языки: неклассические формы в преподавании классических языков на историческом факультете НГПУ**

Изучение древних языков на историческом факультете НГПУ, возобновленное в 1991 г., делится на два этапа: элементарный курс латинской грамматики, который осваивают все студенты однокурсники в течение первого и второго семестров; специализированный курс языка в рамках дополнительной специализации «Древние классические языки и античная культура». Последний, рассчитанный на три года, является уникальной особенностью исторического факультета НГПУ.

Чаще всего преподавание древних языков осуществляется силами филологов и лингвистов. В НГПУ это является прерогативой историков, членов кафедры всеобщей истории и дисциплин классического цикла.

Это обстоятельство обусловило иные методические установки. Разрабатывая лингвокультурологическую концепцию дополнительной специализации, мы старались придерживаться двух принципов: с одной стороны, рассматривать язык по А.Ф. Лосеву «не в виде застывших грамматик и словарей, но в виде живой стихии человеческого, т.е. осмысленно-жизненного, общения» (Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф: Труды по языкознанию. М., 1982. С. 4); с другой стороны, использовать язык для постижения исторического прошлого, т.к. историк воспринимает язык, прежде всего, как инструмент для работы с письменным источником. Ибо в поисках максимальной верификации исторического знания профессиональный историк всегда обращается к свидетельствам источников, используя для этого язык как ключ, по принципу “*ex fonte ipso bibere*”.

Стремление придерживаться в преподавании древних языков двух этих принципов заставляет искать интересные нестандартные формы обучения, активно внедрять новаторские формы занятий. К ним относятся «пиры софистов», «прогулки по Риму», просмотр и обсуждение тематических фильмов, аудирование текстов источников, музыкальные занятия с использованием латинских песен, средневековой духовной и светской музыки. Накоплен большой опыт в постановке театрализованных представлений на латинском и древнегреческом языках, проведения Олимпиад по латинскому языку и античной культуре, проходящих как в традиционной форме, так и в форме КВН.

Выбор темы застолий и еды, на наш взгляд, позволяет реализовать методические и профессиональные задачи. Современная историческая наука за любым историческим феноменом пытается рассмотреть живую человеческую жизнь, обнаружить человеческое содержание истории, углубляясь в проблемы микроистории и истории повседневности. Одним же из самых повседневных явлений в истории является прием пищи. Игровая форма проводимого мероприятия активизирует познавательную деятельность самих обучаемых.

На III курсе студенты собираются на общем застолье, которое лишь условно определяется как «сисситии», поскольку, если восстановить значение древнегреческого *συσσίτιον*, понятия, возникшего в Спарте и на Крите, то оно означало – обед, сотрапезничества мужчин – полноправных граждан, санкционируемые государством. Не вдаваясь в подробности научной дискуссии о связи сисситий с мужскими союзами и их военной организацией, заметим, что применение этого термина на профиле актуализирует только три его характеристики. Сисситии не предполагали никакого вида интеллектуальной деятельности, и это условно отражает первую ступень проведения игры-застолья, а также «примитивность», несложность получаемых заданий. Сисситии допускали эпизодическое участие женщин, а также, по критской традиции, проходили сидя. Аттическим *συσσίτιον* определяется форма трапез, проводимых на IV и V курсах, которая предполагала, что участники пира собираются, в том числе и

для интеллектуального общения. Использование двух этих понятий отражает эволюцию, которую претерпели «сисситии», проводимые на профиле в течение последних трех лет, оформившись фактически в «симпозиум» как форму интеллектуального общения.

На первом этапе (III к.) студенты получают групповые и индивидуальные задания, выполняя которые, они должны выяснить ряд вопросов. Какая система питания была у греков? По какой схеме они принимали пищу? Как регулировались время и способ еды? Чтобы накрыть условно греческий стол, выясняется традиционный набор продуктов и трапезной утвари. Рассматривается и культура питания: виды напитков, традиция разбавления вина, варианты тостов, эпитеты, которыми наделялось вино. По каждой теме составляется лексический минимум на древнегреческом языке. Итак, в реальном времени проводится трапеза, на которой обсуждается подготовленный материал и выясняется, какое большое количество ассоциаций, подписок, складчин позволяло грекам участвовать в общих трапезах.

На втором уровне (IV к.) для обсуждения на симпозиуме предлагается тема: «Греки и варвары: традиции пиршеств и застолий у различных народов». Этот этап предполагает непосредственную работу с древнегреческим источником. В качестве подготовки студенты под руководством преподавателя переводят отрывки из «Пирующих софистов» Афиня. Эти отрывки объединены одной темой – описанием традиций застолий у разных народов (кельтов, парфян, этрусков, римлян, сирийцев, египтян) и выстроены по определенному канону: кто и когда устраивает пир; как трапеза выстраивается, регламентируется; как приготовлена еда, что и в каком количестве съедается. Во время симпозиума студенты обсуждают различные системы питания и связанные с ними обычаи, выясняют предметно-бытовой мир застолий, а также пытаются анализировать, как формируется образ варвара в эллинистической историографии.

На V курсе в течение года идет подготовка к симпозиуму с темой для обсуждения – «Пир как форма интеллектуальной жизни греков». Переводятся и используются отрывки из «Пира» Платона и Ксенофонта, «Застольные беседы» Лукиана, «Пирующие софисты» Афиня, «Пир семи мудрецов» Плутарха. Студенты анализируют проблему, как и когда у греков возникает «пир» как философский жанр и какова его специфика.

В дальнейшем такая форма работы может быть использована для освоения и других тем: древнегреческие кулинарные рецепты, пища и медицинские рекомендации, «пифагорейская кухня»: альтернативные сообщества и пищевые запреты. Так на сисситиях методически игровой прием превращается в интеллектуальное пространство и универсальную метафору одного из способов греческих мыслительных практик, в которых одновременно совмещается цель и средство. Погружаясь в это пространство, студенты не отстраненно изучают эти практики, а сами становятся их субъектами. Классическая же для греческой античности соци-

ально-мыслительная и поведенческая практика в наше время становится нестандартной формой изучения древнегреческого языка.

На пятом курсе организуется педагогическая практика по преподаванию древних языков. Многие выпускники, освоившие эту дополнительную специальность, успешно обучают латыни и греческому учащихся гимназий, духовных и медицинских учебных заведений города и области. Все перечисленные особенности работы дополнительного профиля способствуют превращению «мертвых» языков в средство живого общения, а также в инструмент культурно-исторической коммуникации прошлого и настоящего.

*В.Л. Портных* (Новосибирский ГУ)

### **Хроника «Деяния франков и прочих паломников в Иерусалим» и трудности перевода латинской терминологии на русский язык**

Хроника «Деяния франков и прочих паломников в Иерусалим» занимает важное место среди прочих хроник первого крестового похода. Именно она относится к категории хроник, написанных очевидцами событий. Принято считать, что автором хроники является рыцарь, воевавший в составе войска Боэмунда Тарентского, сформированного из южно-итальянских норманнов. Установлено, что текст «Деяний франков» лежит в основе многих других хроник первого крестового похода.

В рамках работы над переводом хроники на русский язык авторы столкнулись с трудностями разной степени значимости. Часть их связана с адекватным переводом на русский язык средневековой латинской терминологии. Как справедливо заметили по этому поводу Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобос, «у каждого автора есть своя манера выражаться, а следовательно, нужно изучать *язык* автора, знать, какой особый смысл придавал он словам» (Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. М., 2004. С. 149). В том числе, это касается проблемы адекватного перевода в хронике «Деяния франков» термина «miles».

Западные переводчики переводят «miles» как «рыцарь»: Розалинд Хилл как «knight» и Луи Брейе как «chevalier». В пользу строго соответствия miles и рыцаря как особой корпорации свидетельствует приведенный Ниермайером пример из хроники Фульхерия Шартрского, еще одного очевидца первого крестового похода: «Рыцарей наших было 500, не считая тех, которые, не будучи, однако, рыцарями, сражались верхом». Таким образом, не всякий конный воин является miles.

Однако, как пишет Г. Дельбрюк, термин miles никогда не был точным. В XII в. им обозначались все конные бойцы, и лишь со временем он начинает обозначать собственно рыцаря. Жан Флори в своих исследованиях также говорит о нечеткости смысла термина «miles» во времена пер-

вого крестового похода. Он пишет, что термин широко распространяется на рубеже I-II тысячелетий, и уже с XI в. его начинают прибирать к себе высокие персоны (Флори Ж. Повседневная жизнь рыцарей в средние века. М., 2006. С. 80). Однако в тот период данный термин не перестает обозначать всякого воина в принципе. В течение XI в. термин уже приобретает значение отборного всадника, и в хартиях все чаще делается акцент на обозначении им принадлежности к социальной категории. К концу XI в., за исключением особых случаев, *militēs* обозначает только конных воинов. Аналогичный смысл имеет терминология XII в. из вульгарных языков – *chevalier, knight, ritter*. При этом в конце XII–XIII вв. и *miles*, и соответствующая терминология в «вульгарных» языках, уже начинает обозначать некий институциональный статус. Как считает исследователь, это связано с формированием рыцарства как аристократической корпорации «профессиональных военных». Дальнейшим развитием событий ближе к концу средневековья было превращение звания рыцаря в высокую награду не только за военные заслуги и далеко не для всех дворян, отличившихся на военном поприще.

Таким образом, в изучаемый период термин *miles* нельзя связать ни со знатным происхождением, ни инкорпорированностью в систему феодальных отношений. Бесспорным было лишь указание на военную профессию и, как правило, статус конного воина. Исходя из этого, мы попытаемся вывести значение термина «*miles*» применительно к хронике «Деяния франков» и осуществить более-менее адекватный перевод.

Чаще всего, термины *miles* и *militia* употребляются без указания на социальную принадлежность или на род войск. Однако вместе с тем в хронике встречается достаточно много формулировок, где *militēs* противопоставляются пешим (*pedites*). В девятой главе Бозмунд обращается к войску перед битвой при Дорилее: «Сеньоры и сильнейшие воины Христа, вскоре тяжелая битва обступит нас со всех сторон. Итак, пусть все воины (*militēs*) мужественно выступят навстречу туркам, а пешие (*pedites*) же пускай благоразумно и скоро разбивают лагерь». Важно заметить, что обращение было адресовано *omnibus militibus*. Таким образом, *militēs* относится ко всем, но и в то же время только к конным воинам. В 13-й главе говорится: «Отпраздновав с пышностью праздник славнейшего Рождества, в понедельник те и другие выступили из лагеря, имея более 20 тысяч воинов и пехотинцев». 14-я глава: «Они убили многих наших воинов и пехотинцев, не ожидавших нападения». 18-я глава: «В тот день более тысячи из наших воинов и пеших претерпели мученичество». Аналогичные примеры встречаются в 20, 30, 33, 39-й и других главах.

В 15-й главе указывается на прямую зависимость *miles* и лошади: «Во всем войске тогда никто не был способен найти 1000 воинов (*militēs*), у которых были бы лошади в хорошем состоянии». Фрагмент 10-й главы

дает понять, что различие в статусе *milites* и *pedites* состояло в наличии или отсутствии лошади: «Там погибла большая часть наших лошадей, и потому многие из наших воинов остались пешими».

Можно привести еще один довод в пользу того, что *miles* не является в хронике синонимом рыцаря. В историографической традиции принято считать автора хроники рыцарем средней руки, что основано на анализе ее текста (автор противопоставляет себя духовенству, пешим воинам и верховным руководителям). Однако в 36-й главе, ближе к концу своего повествования, автор пишет, что «наши воины (*milites*), идя впереди нас, расчищали нам дорогу». Таким образом, автор противопоставляет себя *milites*, что вряд ли может означать то, что автор был лишен статуса рыцаря. Процедура лишения рыцарского звания была сложной и в то время встречалась достаточно редко, и скорее всего упомянутая фраза означает попросту то, что автор хроники лишился своей лошади.

Единственным фрагментом, который может указывать на то, что *milites* могут выделяться как прослойка общества, является фрагмент из 19-й главы: «Танкред не медлил. Он выступил со своими достойнейшими воинами и сержантами». Хотя Брейе считает, что *servientes* здесь фактически является синонимом *pedites*, Ниермайер указывает, тем не менее, на то, что *serviens* не является рыцарем, но может быть и конным воином (Niermeyer J.F. *Mediae Latinitatis Lexicon Minus*. Leiden, Boston, 2002. P. 1255). Однако последний пример является для «Деяний франков» скорее единичным случаем. Таким образом, в контексте хроники мы считаем, что более уместно переводить *miles* как «воин» или «конный воин», либо как «рыцарь», оговаривая при этом специфику его значения для изучаемого периода.